

Вацлав
Михальский

Прощеное воскресенье

роман



ТОМ ВОСЬМОЙ

Вацлав Вацлавович Михальский

Собрание сочинений в десяти томах. Том восьмой.

Прощеное воскресенье

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=9528844

*В. В. Михальский. Собрание сочинений в десяти томах. Том восьмой.
Прощеное воскресенье: Издательство «Согласие»; Москва; 2015
ISBN 978-5-906709-18-9, 978-5-906709-10-3*

Аннотация

На страницах романа Вацлава Михальского «Прощеное воскресенье» (ранее вышли – «Весна в Карфагене», «Одиному везде пустыня», «Для радости нужны двое», «Храм Согласия») продолжается повествование о судьбах главных героинь романа – Марии и Александры, дочерей адмирала Российского Императорского флота, в которых соединились пути России и Туниса, русских, арабов, французов. В романе «Прощеное воскресенье» есть и новизна материала, и сильная интрига, и живые, яркие характеры, и описания неизвестных широкой публике исторических событий XX века.

Содержание

Часть первая

5

Конец ознакомительного фрагмента.

81

Вацлав Михальский
Собрание сочинений в
десяти томах. Том восьмой.
Прощеное воскресенье

© Михальский В. В.

* * *

Часть первая

*Душа моя – Элизиум теней,
Теней безмолвных, светлых и прекрасных.*

Ф. И. Тютчев

I

«Чтоб тебе пусто было!» – говаривала в сердцах нянька Машеньки баба Клава. Та самая, с которой они певали когда-то в еще зеленом июньском пшеничном поле, собирая среди колосьев восковой спелости темно-голубые васильки с их острыми и нежными лепестками, васильки для папá в день его рождения. Да, так она говаривала, ее незабвенная баба Клава, когда очень гневалась: «Чтоб тебе пусто было!»

До сорока лет, иногда и сама употребляя это расхожее выражение, Мария Александровна ни разу не прислушалась к произносимым словам, не пропустила их через свою душу, не попыталась осмыслить. Почему? А кто его знает? Так уж устроена жизнь, что многое совершается в ней походя, без внимания, особенно это касается жизни слов, которые мы говорим или пишем, не вникая в их первородный смысл, не отдавая себе отчета в том, что просто так, всуе, народ ниче-

го не затвердит в языковой стихии, а застывшие выражения потому и застыли, что совершенны, что лучше не скажешь.

Как и четверть века тому назад, был неизменно грозен на вид высеченный в скалах Берегового Атласа форт Джебел-Кебир, давший когда-то приют Севастопольскому морскому корпусу. Обложенный диким камнем, глубокий, как колодец, и широкий, как театральный зал, циклопический ров вокруг форта еще не зарос окончательно, но уже зарастал бурьяном, а на площадке надо рвом, у крепостного вала, росла, как и в прежние времена, жесткая, будто проволока, серая кустистая трава неизвестного Марии Александровне роду-племени.

С восемнадцатикратным морским биноклем на шее она стояла на площадке перед фортом и смотрела пока еще невооруженным глазом вниз, в долину, на светло-зеленые в это майское утро сады и виноградники тунизийцев; на более темные пятна оливковых рощ; на светлые залысины песчаных пляжей, где, бывало, так славно веселились русские кадеты и гардемарины; на белые петли известняковых дорог, сбегających почти к самому синему морю. Смотрела, видела, воображала сценки давно минувших дней и ничего не чувствовала, кроме сосущей душу тоски, переходящей в пустоту без конца и без края. Вот тут-то она и вспомнила любимую бабу Клаву и те васильки для папа в пшеничном поле, что ярко голубели среди туго налитых, но еще зеленых колосьев. Вспомнила, как пели они с бабой Клавой в том поле

песню на два голоса:

Зачем тебя я, милый мой, узнала?

Зачем ты мне ответил на любовь?

Вспомнила она и то, как смешно, будто от щекотки, было ей, девятилетней, слышать от сморщенной, скрюченной старушки слова о каком-то милом, о какой-то любви... Вспомнила и бабы Клавино: «Чтоб тебе пусто было!»

Странно, но вот только сегодня, третьего мая 1945 года, оглядывая с высоты форта Джебель-Кебир хоть и знакомую ей с отрочества, но все-таки чуждую для нее окрестность, только сейчас она вдруг осознала во всей полноте смысл поговорки: «Чтоб тебе пусто было!»

Ей было пусто. Ни сладко, ни горько, ни радостно, ни печально, а именно пусто...

Что можно рассказать о пустоте? Да и нужно ли о ней рассказывать? Зачем?..

«Зачем тебя я, милый мой, узнала? Зачем ты мне ответил на любовь?» – из далекого далека послышался ей хрипловатый старческий голос с иногда прорывающимися высокими нотками, послышался, словно с небес, и там же затих, исчезая в пустоте мироздания.

За высокими коваными воротами внутри форта переговаривались по-арабски сторожа, нанятые Марией Александровной на то время, а вернее – безвременье, пока арендо-

ванный ею старинный форт не примет на свой баланс новая военная администрация Тунизии. Должны были принять еще на прошлой неделе, да не собрались, обещали сегодня – и тоже никто не приехал. С часу на час все ждут капитуляции Германии. Все ждут исторических перемен и в жизни государств, и в собственных судьбах. Отсюда паузы в делах и исключительная неспешность чиновников.

Вчера пал Берлин. Радиостанции союзников неоднократно извещали об этом мир, но о том, что германскую столицу взяли русские, упоминали не во всех сводках, а если и упоминали, то без подробностей, вскользь. Это не могло не покоробить Марию Александровну, но она понимала: история сделана, теперь каждый из победителей запишет ее по-своему.

– Э-льхаль ехун иль-йом!

– Тэкун-эн-маама эс-сана, иншаалла.

– Аллах икун маама!¹ – говорили между собой сторожа на хорошо понятном Марии Александровне диалекте арабского языка. Говорили феллахи² о вечном, и им не было никакого дела ни до дымящихся руин Берлина, ни до ликующей Москвы, ни до Лондона и Вашингтона с их новыми стратегическими раскладами нового миропорядка.

В апреле 1945 года форт Джебель-Кебир окончательно

¹ – Жарко сегодня! – Знатный будет урожай, если пожелает Аллах. – Да пребудет с нами Аллах! (*тунисский диалект арабского*).

² Крестьяне.

опустел, и раздававшиеся в последние годы на его просторном внутреннем дворе под открытым небом русские голоса и команды, русские песни растаяли в африканском воздухе безвозвратно. К тому времени Мария Александровна отправила всех спасенных ею «подранков» из советских военнопленных, участвовавших во французском движении Сопротивления, в США или Канаду учиться. Всех подлечила, всех поставила на ноги и отправила, договорившись с каждым, что на время учебы он будет на ее попечении, а потом кто как устроится, кому как карта ляжет.

Раньше других уехал в Габон фельдшер Анатолий Макитра, тот самый, что принес ей весть о сестре Александре Галушко и говорящей только по-украински матери Ганне Карповне, работавшей накануне войны в посудомойке одной из московских больниц.

«Неужели мама выходила за папиного денщика Сидора? – вдруг подумала Мария Александровна, припомнив сейчас, как появился на пороге ее кабинета, здесь, в форте, с левой рукой на перевязи худенький светловолосый и светлоглазый юноша и, козырнув, представился: «Военфельдшер Макитра!»

А следом припомнились ей церковь Покрова-на-Нерли, Троица, обедня в благоухающей свежесорванными травами, полевыми цветами и ладаном церкви и то, как она, малышка, перехватила острый, как заноза, «неправильный» взгляд на маму папиного денщика Сидора Галушко, старшего сына ее,

Марии, няньки бабы Клавы. Вспомнилось, как не понравилась ей, девчужке, этот его горящий в намоленной полутьме нечистый взгляд. Господи, неужели мама была вынуждена выйти замуж за этого Сидора?

Мария Александровна приложила к глазам висевший на шее бинокль, обвела взглядом округу: долину с садами и виноградниками, песчаные пляжи, бескрайнее море с черным парусом рыбацкой фелюги у горизонта, – как будто могла где-то здесь найти ответ хотя бы на то, почему у ее сестры Александры фамилия Галушко. Или почему она сама, Мария, назвалась этой фамилией в пражской больнице для бедных? Почему? Действительно, почему это вдруг она ни с того ни с сего сказала тогда старенькому врачу, что зовут ее Мария Галушко? И он так и записал на карточке из тонкого серого картона, разграфленного типографским способом, и поставил бледно-лиловый штампик в левом верхнем углу: «Доктор Юзеф Домбровский».

А если б она еще знала сейчас, что ее сестра давно уже стала Домбровской...

Мария Александровна опустила бинокль, и всколыхнувшееся было в душе чувство уступило место всеобъемлющей пустоте.

– До свидания, я поехала! – повернувшись к воротам форта, крикнула она сторожам по-арабски и пошла к машине, снимая с шеи бинокль с болтающимся футляром из вкусно пахнущей кожи с серебряной монограммой S.P.

Подойдя к открытой машине, она положила бинокль на сиденье рядом с водительским и равнодушно подумала о том, как странно устроен мир, что какая-то вещь из стекла и железа до сих пор с ней, а столько людей нет. Нет Пиккара, Николь, Клодин, Шарля, нет праправнука Пушкина баронета Уэрнера, нет ее Антуана... фактически. Нет для нее ни сестры, ни матери, ни дяди Паши, а чепуховый его бинокль сохранился в целости... За океаном ее мальчишки-«подранки», давно расплылись в пустыне сотни спасенных ею «русских рабов Роммеля», нет никого... Мама и сестра в России, и, чтобы не причинить им смертоносного вреда, лучше их не разыскивать. Дядя Паша вообще неизвестно где: в какой из Америк? Уля в пустыне и почти растворилась в чужом племени. Точно так же, как доктор Франсуа в обожаемых им берберских наречиях... А у нее самой что?

Пустота.

Она села в машину, привычным движением повернула ключ зажигания и тронулась в путь, к себе на виллу. Фунтик-то еще при ней! Чего плакаться? Про Фунтика-то она и забыла. Стыдно.

II

Настроенный на Париж радиоприемник на вилле Марии Александровны работал почти непрерывно. Наконец, около полуночи 8 мая пришло известие о подписании в пригоро-

де Берлина Карлхорсте акта о безоговорочной капитуляции Германии. Акт вступал в силу 8 мая с 24 часов по среднеевропейскому времени, а значит, по московскому – с двух часов ночи 9 мая 1945 года.³

Слушая французскую радиостанцию, Мария Александровна невольно всплакнула, но, вытерев набежавшие слезы тыльными сторонами ладоней, бодро и громко сказала Фунтику:

– Ну что, Фуния, будем праздновать!

Пес мгновенно улавливал малейшие перепады в настрое-

³ Всего лишь разница временных поясов, а не «прихоть русских» определила то, почему в Европе, а за ней и во всем остальном мире победу над Германией празднуют 8-го, а в России 9 мая. Разнообразные пассажи о русской прихоти и по сей день мелькают в трудах западных военных историков, мелькают с единственной целью – по возможности принизить роль СССР в победе над Германией. Например, в «Энциклопедии войн XX века» современный английский историк Чарльз Мессенджер пишет, что на самом деле капитуляция Германии состоялась 7 мая во французском городе Реймсе и подписали акт американский генерал Смит и немецкий генерал Йодль «в присутствии русских и французских офицеров как свидетелей». А дальше тот же историк пишет: «Западные союзники хотели официально объявить об окончании войны в Европе, однако русские настояли на проведении еще одной церемонии капитуляции, которая состоялась в Берлине 8 мая». Обратите внимание – «еще одной», то есть дублирующей предыдущую, подлинную... Акт о безоговорочной капитуляции Германии в Карлхорсте подписали: со стороны СССР – маршал Жуков, со стороны Германии – фельдмаршал Кейтель, со стороны Великобритании – главный маршал авиации Теддер, со стороны США – командующий стратегическими воздушными силами генерал Спаатс, со стороны Франции – главнокомандующий французской армией генерал де Латтр де Тассиньи. Кстати сказать, увидев на подписании последнего, изумленный Вильгельм Кейтель воскликнул: «Так что, мы и французам проиграли эту войну?!»

нии хозяйки. Он обожал, когда в ее голосе звенели бодрые нотки радости, когда она улыбалась ему.

Повизгивая от восторга, Фунтик подбежал к камину – он точно знал: если хозяйка весела, то разожжет камин как безусловный знак праздника.

– Разжечь камин? Сейчас сделаем!

Сухие ветки яблоневых и сливовых деревьев, как всегда, были приготовлены в камине и разгорелись очень быстро. В гостиной запахло неизъяснимо приятным дымком, обнимающие яблоневые и сливовые ветки языки пламени заплясали, отражаясь на красноватом гранитном полу перед камином.

Мария Александровна принесла из кухни и поставила на малахитовую столешницу низенького столика перед камином бутылку красного вина провинции Медок и свой бокал на высокой ножке.

– Фуня, откроем? Знаю, что не любишь, но полагается.

Откупорив бутылку, она налила себе полный бокал, потом прошла к большому столу в глубине гостиной, на котором стоял непрерывно говоривший радиоприемник, выключила его, а затем погасила и верхнее освещение, оставив светиться только матовый плафон у лестницы на второй этаж. Возвратившись к камину, она села в мягкое кожаное кресло и в наступившей тишине, подчеркиваемой легким потрескиванием сучьев, сказала, обращаясь к своему давно привычному собеседнику:

– Ну что, за Победу! Давай нос. – Она слегка прикоснулась полным бокалом к холодному черному носу Фунтика и пригубила терпкое вино.

Переждав торжественный момент, пес все-таки не удержался и чихнул: он терпеть не мог запах алкоголя.

– Больше не буду, Фуня, извини, но для первого раза надо было чокнуться. За Победу нельзя не выпить!

В большом богатом каменном доме на берегу Средиземного моря она сидела с собачонкой на коленях и почти бездумно смотрела на игру всепожирающего огня в камине. Фунтик пригрелся, уснул и даже чуточку похрапывал во сне. По собачьим меркам он еще не старый, но стареющий, нежно погладив пса, подумала хозяйка, точь-в-точь как я по человеческим, если считать, что это неправда: «Сорок лет – бабий век». Она помнила, как остро переживала когда-то свое тридцатилетие. Сейчас ей сорок, а она спокойна, может быть, потому, что терять ей больше нечего... Был Антуан – была другая жизнь. Но он как появился с небес, так и растаял в небе. Об Антуане она помнила всегда: и днем, и ночью, и наяву, и во сне.

Камин догорал, последние язычки пламени еще перебежали время от времени по обугленным веткам.

– Что, Фуня, пойдем спать?

Пес сладко зевнул, потянулся всем телом, а потом и спрыгнул с колен Марии, цокнув коготками по гранитному полу. Он был готов сопровождать ее наверх до дверей спаль-

ни, чтобы улечься самому на личном коврике у порога...

Рано утром на своем штатном зеленом полугрузовичке, на котором привозил он когда-то сюда, на виллу, молоденького капитана британской разведки Джорджа Майкла Александра Уэрнера, приехал доктор Франсуа. Следом пришел небольшой караван из пустыни – это прибыли с поздравлениями Уля и ее муж Иса.

– Мы, как только услышали по радио о Победе, сразу решили, что перед рассветом двинемся к тебе, – целуя Марию, говорила Уля. – Я так плакала!

Тут же пришел господин Хаджибек с женами Хадижей и Фатимой и сыновьями Мусой и Сулейманом. Подростки учились в городе в закрытом пансионе и хотя и говорили по-русски, но с явным французским акцентом.

Позвонили из канцелярии нового губернатора, он сам взял трубку и поздравил Марию Александровну с Победой. Она восприняла этот звонок с благодарностью и спокойствием, а господин Хаджибек покраснел от восторга, и его маленькие черные глазки заблестели новой надеждой: а вдруг поправятся его дела и он еще воспрянет? А если воспрянет, то теперь уже никогда не станет пренебрегать советами Марии.

Восторженная реакция банкира Хаджибека была понятна Марии Александровне, как четыре действия арифметики, а вот доктор Франсуа удивил ее. Как только выяснилось, что говорить будет сам губернатор, доктор простецки подмигнул

Марии и показал большой палец, желтоватый от йода. А когда разговор закончился, Франсуа даже победно хлопнул в ладоши и загадочно обронил по-русски: «Дело в шляпе!»

– Что с вами, доктор? – насмешливо спросила его Мария Александровна также по-русски. – Соскучились по своему пациенту? – Она имела в виду тот факт, что Франсуа, как и во времена генерала Шарля, был личным врачом губернатора.

– Я потом все сказать, – склонившись к ее уху, тихо проговорил доктор Франсуа. – Потом-потом, – добавил он с улыбкой заговорщика, дело которого удалось.

– Ладно, потом так потом, – отозвалась Мария Александровна. Ей было радостно говорить с доктором по-русски, а что касается сюрприза, на который намекал доктор, то он был почти не интересен Марии.

Хадижа сказала, что пойдет распорядиться о завтраке. Следом за ней ушла и Фатима с сыновьями.

– Франция теперь снова великая держава! – восторженно сияя, воскликнул господин Хаджибек. – Ай, молодец генерал де Голль!

– Да, он молодец, – степенно поддержал разговор царек Иса. – Он великий политик: сумел сделать так, что его отряды Сопротивления первыми захватили Париж, а значит, французы сами освободили Францию. А маршал Петен под арестом, но, я уверен, его скоро отпустят.

– Должны, – согласился доктор Франсуа. – Маршала ведь

не ловили. Он сам приехал и сдался. Тем более при его чине и возрасте... А что думаете вы, Мари?

– Думаю, что это дело французов. Наверное, отпустят. Я вообще не вижу его вины, но это опять же дело французов. Петен спас Францию от разорения и большой крови. Де Голль спас Францию от мирового позора и сумел вернуть ей положение великой державы, притом опять же без большой крови. Старик Петен ошибся, но французы его поддерживали, и не мне их судить! Петена ведь арестовали еще немцы, он фактически давно не у дел⁴.

– А поехали праздновать к нам на стоянку! – неожиданно для себя самой предложила Уля. – Поехали, Маруся! Послушаешь, как Коля на твоей скрипке играет.

– Поехали! – с удовольствием согласилась Мария, которой не хотелось разномастного застолья у себя дома.

Через четверть часа караван выступил в пустыню. Семей-

⁴ С 1943 года немцы удерживали Петена в замке Зигмарингем. Он содержался под стражей, но с почестями, наподобие Наполеона на острове Святой Елены. В заточении у своих сограждан на острове Ие прошли последние годы жизни Анри Филиппа Петена. Он содержался не только без почестей, но и без снисхождения к возрасту и былым заслугам. Один раз в сутки маршалу полагалась получасовая прогулка по тюремному двору, и, когда он попросил, чтобы его прогуливали в той части двора, откуда виден краешек моря, ему было отказано даже в этой малости. Любопытно, что Петена приговорили к смертной казни за измену родине в июле 1945 года, в августе де Голль заменил казнь пожизненным заключением, а уже в январе 1946 года он сам потерял власть, чтобы вернуться к ней лишь в 1958 году. Маршал Петен умер в возрасте 95 лет, так и не увидев моря, катящего волны к берегам его любимой Франции, так и не поняв, за что его покарали столь жестоко.

ство господина Хаджибека осталось дома, Фунтика поручили их прислуге, а доктор Франсуа заявил, что он отпросился у губернатора на целые сутки и рад поехать к туарегам, его грузовичок подождет, сейчас он только загонит его в тень под навес старой конюшни.

Нынешняя стоянка Исы и Ули была в четырех часах караванного хода, так что до сильного зноя они успели добраться к пересохшему руслу вади, у которой обосновалось племя.

В начале мая сильная африканская жара еще не вступила в свои права, и часа за полтора до захода солнца можно было пройтись по пустыне в свое удовольствие.

Пока домашние рабы туарегов, икланы, готовили вечернее пиршество, царек Иса и доктор Франсуа играли в роскошной гостевой палатке в шахматы, а Мария и Ульяна пошли прогуляться берегом вади. По низкому левому берегу пересохшей реки они шагали недолго, а потом спрыгнули с полуметрового карниза и пошли каменистым руслом. Здесь ноги не утопали в песке и шагать было легко и приятно. Правый берег вади поднимался высоко, иногда выше человеческого роста, и местами образовывал глубокие ниши, в которых во время короткого, но бурного паводка стремительный поток закручивался бешеными воронками, взбивая над собой шапки желтоватой пены.

– А мне в последнее время Андрей Сидорович стал сниться, – громко сказала Уля, и дувший им в лицо предвечерний ветерок понес ее молодой сильный голос по трубе камени-

стого русла назад, к истокам еще недавно живой реки.

– Твой есаул? – прислушиваясь к замирающему за их спинами эху, спросила Мария.

– Мой, а то чей же! Снится, как переплывает он Сену под мостом нашего царя Александра. Я сама не видела, но бабы Нюси муж часто рассказывал, как дело было. Они с моим Сидорычем глаза залили и поспорили, кто быстрее переплывет. Муж бабы Нюси или сдрейфил, или так вином нагрузился, что подняться не смог, а мой бултых в воду – и поплыл, да еще кричит: «Эскадрон! Справа заезжай!» – с тем и ушел под воду. Он так всегда кричал пьяный, и когда я его на горбу к нам на пятый этаж по лестнице таскала, тоже: «Эскадрон! Справа заезжай!» – Небось, тоскует его душа, что никто не проведывает могилку. Помнишь кладбище в Биянкуре?

– На косогоре. С ультрамариновыми крестами. Помню, конечно.

– Иса соглашается поехать в Париж, у него там какие-то дела. А я Сидорыча проведу и, дай бог, переховаю. Место ему куплю, честь честью. Ведь эти биянкурские грозились кладбище закрыть через пять лет. Ну в войну им не до того было, а сейчас жизнь наладится – и снова вспомнят.

– Наладится она не скоро, – равнодушно сказала Мария, – а перезахоронить надо. Ой, так и мне хорошо бы в Париж! – добавила она, оживляясь. – Всякие бумажки надо переоформить, все посмотреть. То же наследство Николь, к примеру. У нее в Париже, у моста Александра III, дом трехэтажный с

лифтом... Помнишь, мы тебя там лечили? Да и здесь, признаться, тошно мне. Поехали?!

– Когда? – нерешительно спросила Уля.

– Да хоть на следующей неделе!

– А Фунтика куда?

– Фунтика? Да я его с собой возьму... Слушай, Уля, вади такая широкая, метров тридцать, а я слышала, что у больших вади бывают имена. Не знаешь, как эта называется?

– Имена им дают в честь каких-нибудь героев, как память. Эта пока безымянная, хотя большая и бурная. В прошлом году у нас верблюжонка унесла. Хочешь, я намекну своим, и они назовут речку Марией? Ты ведь для них святая!

– Спасибо! – засмеялась Мария. – При фальшивой святости только и ставят памятники при жизни.

– Не хочешь? Тогда поворачиваем домой. Вот-вот упадет ночь. – Уля легко выпрыгнула на низкий левый берег и подала руку Марии: – Оп-ля!

Одновременно ощутив взаимное тепло рукопожатия, названные сестры рассмеялись и пошли в сторону стоянки.

Как всегда в Сахаре, стемнело внезапно. Будто в театре открыли занавес второго действия, а на заднике уже не день, а ночь с серебристыми блестками звезд на черном фоне.

На стоянке все было готово к пиршеству. Пахло жареным, вареным, печеным в золе мясом, высокое пламя костров слегка гасило лучистые звезды, а Млечный Путь в вышине был широк и светел.

Туарегские старики и старухи сидели отдельно друг от друга, но на одинаково почетных местах вблизи царька Исы, царицы Ули, Марии и доктора Франсуа, которые как особо почетные гости восседали на львиной шкуре, постеленной для них наземь лично Исой. Молодежь племени образовала смешанный круг юношей и девушек поодаль, а еще дальше, за кострами, разместились чернокожие рабы туарегов, хотя и довольствующиеся остатками со стола хозяев, но все-таки не обделенные праздником. Там же были дети туарегов и иклянов – все вместе, все на равных правах.

Царек Иса в последние годы так раздался в плечах, что при своем двухметровом росте выглядел сказочным исполином. Как и у всех туарегов, лицо его было закрыто легчайшим синим покрывалом, так, что оставалась лишь прорезь для глаз, жесткий взгляд которых смягчался только при виде Ули, успевшей переодеться к ужину в парадный белый хитон, перехваченный в талии широким алым поясом с золотой сканью и открывающий ее стройные ноги выше колен. На левом предплечье царицы сверкал в специальной петле маленький кинжальчик – символ высшей власти в племени. Иса рассказал собравшимся, что народ Марии и Ульяны, который живет далеко за морем, победил всех своих врагов и теперь ему принадлежит половина мира.

– А много ли отбили у врагов белых верблюдиц? – спросил в торжественной тишине самый старый туарег.

– Да, мы отбили много белых верблюдиц, – ответила ему

по-туарегски Мария.

Старик был удовлетворен ответом. На этом торжественная часть закончилась.

К мясным блюдам молодые чернокожие рабыни, как обычно во время пиршеств, подали в глиняных кружках верблюжье молоко, разбавленное водой и приправленное душистым медом Ахагара.

Перед танцами юная туарежанка искусно играла на однострунном амзаде и пела песню собственного сочинения о том, как храбро воевали люди Марии и Ульяны, как много скота угнали они у своих врагов. Потом вышел на середину круга Коля-туарег со скрипкой, подаренной ему Марией. И вознеслась над гаснущими кострами знаменитая «Мелодия». Эту пьесу Чайковского для скрипки и фортепиано Коля-туарег начал исполнять еще на первом курсе псковского музыкального училища, и она ему удавалась.

Полнозвучная напевная мелодия под куполом звездного неба, отблески догорающего костра на лакированной поверхности верхней деки полной концертной скрипки, синее покрывало на лице Коли-туарега, поток восхищенных взглядов туарегских девушек и женщин, как бы поднимающий исполнителя над грешной землей; такие же восхищенные, но смиренные взгляды туарегских мужчин и юношей, притихшие дети и икланы за кругом костров – именно на этой высокой ноте запомнился Марии Александровне День Победы 9 мая 1945 года.

Ш

Вот и пришла наконец долгожданная Победа, в которой и ее, Марии, была некая толика. Насколько большая – она не догадывалась, потому что не интересовалась величиной своих заслуг и никогда о них не задумывалась. А тут, на пиру у туарегов, доктор Франсуа, сидевший рядом на львиной шкуре, склонился к ней доверительно и тихо сказал по-русски:

– Губернатор сам позвоняй, значит, все, отправляй Париж!

– Что все? – спросила Мария из вежливости.

– Орден Почетного легиона – бумаги.

– Зачем?

– На ваш орден. Дело в шляпе!

– На мой? А мне-то за что?

– За Роммель. Я ему все расскажай.

– За Роммеля мне не надо, его свои наградили, – беззлобно усмехнулась Мария.

На этом их разговор с доктором и окончился. Хотя Мария и поняла, что, по словам доктора Франсуа, она представлена к ордену Почетного легиона, но это не пробудило в ее душе никаких чувств, кроме неловкости. Ведь, говоря по чести, рисковала она тогда с Роммелем не для англоамериканцев и не для Франции, а для своей России, которой она не нужна. Но как сказать об этом доктору Франсуа? А если этого не

сказать, то и говорить вообще не о чем.

Слава богу, доктор был человек тактичный и больше не возвращался к этому разговору, а пересел под бочок к Уле и погрузился с ней в беседу о тифинаге. Беседа француза и русской о письменности туарегов тифинаге настолько захватила обоих, что они не слышали и не видели никого вокруг. Лица их покраснелись, глаза сверкали, а в голосах было столько воодушевления, что смотреть на эту пару доставляло удовольствие. С особенной гордостью глядел на свою Улю царек Иса. Он понимал, что судьба послала ему жену, которой должно гордиться.

Уля – по-арабски значит Первая с большой буквы. Первая в том смысле, что неоспоримо лучшая, первая не столько по порядковому номеру, сколько по сумме других явных преимуществ. И Мария и Иса не раз подшучивали над Улей по этому поводу. А туареги и не сомневались, что называть ее иначе, как Улей, просто смешно. За годы, проведенные в туарегском племени, Ульяна так вжилась в их быт, настолько досконально постигла тонкости их взаимоотношений, выучила их язык со всеми пословицами, поговорками, присказками, так искусно стала играть на однострунном амзаде, сочинять и петь туарегские песни, что туареги давно приняли ее как свою. Но, главное, она овладела тифинагом – письменностью туарегов, овладела в таком объеме и с таким пониманием малейших нюансов, что не только соплеменники, но и знатоки с других туарегских стоянок и даже великий языко-

вед доктор Франсуа признали ее безоговорочный авторитет в этом вопросе; слава о ней разнеслась по всей Африке, точнее, по местам обитания туарегов, а это хоть и не континент целиком, но довольно внушительный пояс шириной в триста-четырееста, а длиной в четыре тысячи километров, через Ливию, Тунис, Алжир, Марокко.

На примере Ульяны Мария Александровна особенно ясно увидела, как умеют русские женщины вживаться в изначально чуждую для них жизнь, как умеют они завоевывать, уступая, и приспособливаться, не только не роняя собственного достоинства и авторитета, но и укрепляя их всемерно, шаг за шагом, день за днем. «А если бы Ульяне еще и ребеночка от туарега? О, это был бы очень русский туарег, – не раз думала о своей названной сестре Мария Александровна, – жаль, не дает пока бог ребеночка...»

Когда доктор Франсуа пересел поближе к Уле, царек Иса, уступая ему место, оказался рядом с Марией, и как-то само собой у них зашел свой разговор, притом неожиданно разговор деловой, важный. Они разговаривали по-французски, сначала довольно вяло, как бы из вежливости.

– Я слышала, вы собираетесь в Париж?

– Да, мне что-то поднадоело в пустыне. Восстановлю старые связи, возьму какой-нибудь подряд. Не зря ведь меня учили в Эколь-Пон-э-Шоссе?⁵

– Понимаю. Мужчине нужно дело... Понимаю.

⁵ Институт путей сообщения.

– Войны теперь долго не будет, – бесстрастно сказал царек Иса, – а в мирное время мое положение в племени номинально. Уля и без меня справится.

– Вы собираетесь работать во Франции?

– Вряд ли. Наверное, здесь. Но большой подряд можно взять только в метрополии.

– Не надо вам брать никакого подряда! – вдруг решительно сказала Мария. – Вы формально зарегистрированы с Улей как муж и жена?

– У нас не принято. А зачем?

– Пригодится для дела.

Царек Иса ни о чем не спрашивал, но его большие черные глаза засветились в прорези темно-синего покрывала живым интересом. Ночь была лунная, да и пламя костров добавляло света. Молодежь уже давно отступила во тьму пустыни на ахаль, старики и старухи разошлись по своим палаткам, детей увели еще раньше. За пиршественным столом оставались только Иса, Мария, Ульяна, доктор Франсуа, поодаль несколько костровых икланов и несколько прислуживающих молодых чернокожих рабынь. Марии Александровне понравилось, что царек Иса выдержал паузу и не нарушил молчания первым. Она подумала, что характер у него крепкий, а значит, ее решение, хотя и неожиданное для нее самой, правильное. Такая у нее была манера – прежде чем сказать человеку что-то важное, поиграть с ним в молчанку, проверить его выдержку. Царек Иса проверку прошел.

– Предлагаю сегодня поехать ко мне, а завтра вы с Улей отправитесь в город и закрепите в мэрии свой брак формально. Потом съездим к нотариусу, где я перепишу мою тунизийскую фирму по реконструкции портов и строительству дорог на Улю. Вам понятен ход моих мыслей?

– Понятен, – без интереса отвечал Иса. – Вы видите меня управляющим?

– Нет. Я вижу вашу жену и вас полноправными хозяевами дела. Что вас смущает?

– Надо подумать...

– Думайте. Но хорошо бы до рассвета тронуться в путь.

– Вы собираетесь уехать из Тунизии навсегда?

– Навсегда? Не знаю. Но, возможно, надолго, – неуверенно проговорила Мария. – Посмотрим, как карта ляжет.

Ее неуверенность была притворной, просто сработала привычка именно так вести деловую игру, оставляя на всякий случай пути к отступлению. А на самом деле за те несколько минут, как пришло к ней внезапное решение переписать часть своего имущества на Ульяну, Мария все успела обдумать: она сделает это для того, чтобы раз и навсегда укрепить положение Ули в обществе, максимально уменьшить ее зависимость от доброй воли мужа, застраховать названную сестру от превратностей судьбы. По всему видно, что туарег пока еще любит Улю, но то, как он сказал «поднадоело в пустыне», содержит в подтексте не одну только пустыню...

Перед рассветом караван вышел из лагеря туарегов. По

меркам Сахары путь предстоял короткий, и Мария с Ульяной были на лошадях, а доктор Франсуа и Иса дремали под мерную поступь своих верблюдов.

За ночь, как всегда это бывает в пустыне, раскаленные пески остыли настолько и так похолодало, что женщинам пришлось накинуть на плечи легкие бурнусы из тонкой шерсти. Разлитая в воздухе свежесть приятно бодрила, и было трудно представить, что через два-три часа опять наступит пекло.

– Ты совсем своя среди туарегов, – похвалила Мария ехавшую с ней бок о бок Ульяну.

Ульяна промолчала.

– Все тебя любят, всем ты нужна. Это не может не радовать, – вновь попыталась завести разговор Мария. И Уля опять промолчала.

– Скорей бы состариться, – сказала она наконец под мягкий топот копыт по хорошо утрамбованному песчаному насту караванного пути.

Где-то недалеко в темной глубине пустыни отчаянно заверещал какой-то зверек. Видно, настигла его судьба.

– Куда спешишь? – совсем не удивившись реплике названной сестры, спросила Мария. – Для чего тебе стариться?

– А чтобы никто от меня не ждал ребеночка. Знаешь, как тяжело обманывать ожидания.

– Но ведь знахарка Хуа сказала, что дело не в тебе. Ты разве не помнишь?

– Я-то помню... Так что, мне с Колей по пробовать?

Вопрос Ульяны повис в стремительно светлеющем воздухе. Рассеянный, но удивительно яркий свет почти мгновенно залил необозримые пространства. С какой-то неистовой, но очень мягкой силой он катил свои волны с востока на запад, и еще недавно темное небо вдруг воссияло над миром нежной голубизной. Далекие палевые склоны южных отрогов Берегового Атласа туманно светились, воздух реял над землей и струился почти невидимыми нитями света. Даже тени верблюдов, лошадей и людей, казалось, были размыты светом, его текучим неуловимым блеском – над пустыней воцарились священные минуты сухура. При невероятном обилии и яркости света он не только не ослеплял, но даже и не напрягал глаза, а как бы ласкал взор надеждой на вечное будущее.

Как всегда неожиданно, сверкнул из-за дальней цепи гор на востоке алый краешек солнца. Утро нового дня вступало в свои права.

Наверное, с четверть часа они ехали молча. Мария следила за тем, как по палевым склонам заметно приблизившихся гор перемещались красноватые пятнышки с белыми точками, очень похожие на мухоморы.

Теперь Мария знала, что это вовсе не грибы, а газели среди желтеющей альфы – африканской разновидности ковыля.

Внезапно на одном из широких дальних склонов Мария увидела довольно крупные знаки, похожие на какие-то неиз-

вестные ей письма.

– Посмотри на горе – что это, Уля?

– Это я со своими туарегами написала на тифинаге, а по латыни – «*Rusia Ulia*», на русском – «Россияуля»: можно прочесть и как «Улина Россия», и как «Россия первая». На нашем тифинаге все слова пишутся слитно, без разделения, без заглавных букв, без знаков препинания. Я хочу все это ввести, даже купила своим бумагу и карандаши... Учю их, но пока толку мало, им все это непривычно. А доктор Франсуа говорит, что если я сумею изменить написание тифинага, то мне нужно памятник при жизни поставить. А на кой мне памятник? Мне бы ребеночка...

– А как это вы написали на горе?

– Да обыкновенно. Траншеи рыли, вот и видно издали хорошо.

– Песком занесет, – сказала Мария.

– А мы будем поправлять, пока будем... – задумчиво ответила Уля.

Краешек солнца, бывшего из-за горы, с каждой минутой рос и светлел на глазах, а потом вдруг упал через всю долину огромный светящийся столб, дрожащий мириадами капелек еще сохранившейся в воздухе животворной влаги.

– Красиво-то как, Господи! – чуть слышно воскликнула Мария.

– Эх, забеременеть бы мне сию минуту, – отчаянно звонко проговорила Уля, – и родить через девять месяцев!

Ровно через девять месяцев, день в день, в парижском доме Николь близ моста Александра III с золочеными конями на колоннах Мария вскрыла пришедшее скорой губернаторской почтой письмо из Тунизии от доктора Франсуа.

Доктор писал, что Уля погибла, спасая пятилетнюю чернокожую рабыню. Дети играли на берегу бурной вади, девочка упала в поток. Ульяна бросилась в реку, доплыла до девочки, успела вытолкнуть ее из воды на берег, а саму ее занесло в водоворот. Она ударилась головой о стенку береговой ниши, спасти ее не удалось.

Далее доктор писал, что похоронена царица Уля по туарегским обычаям до заката солнца того же дня, а безымянная прежде вади теперь носит имя «Уля».

Мария Александровна не помнила, сколько времени простояла она тогда у окна с Улиной похоронкой в руках. Ее вывел из забвения Фунтик, преданно тершийся у ног. Как хорошо, что они с Улей привезли из Тунизии Фунтика... Да, не так давно по этому дому ходила туарегская царица Уля, а ее муж Иса целыми днями ездил по своим однокашникам, чему Мария и Уля были очень рады, тем более что нашлась бывшая соседка Ули по доходному дому в Биянкуре баба Нюся. Они нашли ее, когда занимались перезахоронением Андрея Сидоровича Калюжного. Тогда и встретили бабу Нюсю на биянкурском кладбище с выкрашенными в жуткий ультрамариновый цвет православными крестами. Оказалось, что к этому времени на кладбище уже лежали муж бабы Нюси и ее

старший сын, младший погиб в партизанах где-то на севере Франции, а сама баба Нюся жила в кладбищенской сторожке, поскольку из квартиры ее выселили хозяева.

– Чего ж вы не купили свой домик? – спросила ее Мария.

– Купило притупило, – улыбнулась баба Нюся.

– Деньги пропили? – спросила Уля.

– Пропили.

– Ну и хорошо сделали! – засмеялась Уля. – На домишко там было их маловато, а на пропой в самый раз.

Мария хотела сказать, что денег было не то что на «домишко», а и на целый дом предостаточно, но сдержалась и вместо этого пригласила бабу Нюсю переезжать к ней, в парижский дом Николь. Баба Нюся согласилась только при условии, что она будет убирать дом и вести хозяйство – отрабатывать свое проживание. На том и порешили. А есаула Калюжного, мужа бабы Нюси и ее старшего сына перезахоронили на знаменитом русском кладбище Сен-Женевьев-де-Буа. Мария Александровна сделала попытку перезахоронить и прах знаменитого русского поэта Владислава Ходасевича, но это оказалось невозможным, поскольку поэт был похоронен на биянкурском кладбище в общей могиле. Да, он погребен среди других безродных и бесправных, этот человек, с достоинством написавший о своем месте в русской поэзии:

Во мне конец, во мне начало.

Мной совершенное так мало!

Но все ж я прочное звено:
Мне это счастье дано.

IV

Эх, какая это была знатная светло-серая ангоровая⁶ кофта с шалевым воротником, отделанным по краю темно-фиолетовой полосой из той же шерсти, и такой же темно-фиолетовой отделкой на манжетах. А темно-фиолетовая блузка из шелка! А полушерстяная темно-фиолетовая юбка ниже колен! Все было на пражской барахолке! Но ходить туда советским офицерам и солдатам категорически воспрещалось. Почему? А кто его знает, в те времена на многие вопросы ответ был один – «не положено». Ходили все равно: запрет запретом, а жизнь жизнью. Вот и Александре тоже деваться было некуда, страсть как хотелось на барахолку!

В понедельник 16 декабря 1946 года фельдъегерь привез из штаба армии письмо для начальника госпиталя, из которого следовало, что и сам начальник Иван Иванович, и Папиков, и его медсестры Наталия и Александра, и Ираклий Соломонович откомандировываются в ближайшие дни для дальнейшего прохождения службы в Н-ский госпиталь

⁶ Прикаспийский северо-запад современной Туркмении считается родиной ангорских коз, отличающихся необыкновенно длинным (до 16 см), мягким и прочным ворсом. В XIII веке часть населения этих земель перебралась в Турцию, в область Ангора (Анкара), оттуда и пошли ангорские козы по всему миру.

Москвы. В родную больницу Александры!

Александра могла доверить другим людям, например рабботавшим в посудомойке симпатичным чешкам, выбрать что-то из одежды для нее самой или для любого другого человека, но не для мамы. Выбрать подарок для мамы она могла только сама, лично: вот в чем была загвоздка. Каждый день о пражской барахолке рассказывали в госпитале все новые чудеса, терпеть больше не было сил... Александры решила переговорить со славной белокурой девушкой из посудомойки Марысей, наполовину полькой, наполовину чешкой. Во-первых, они были одного роста и похожего телосложения, а во-вторых, Марыся уже давно выделила Александру по фамилии Домбровская и относилась к ней с явной симпатией, признавая ее за свою. Просьба Александры состояла в том, что Марыся не только должна была сопровождать ее на барахолку, но и принести ей из дома подходящую гражданскую одежку. Даже по чешским меркам пришла зима, так что, помимо платья и платка, хорошо бы еще хоть какое-то завалящее пальтишко, а с обувью Александра решила обойтись, решила, что пойдет в своих офицерских сапожках – кто их увидит?

Марыся обещала исполнить все наилучшим образом, теперь оставалось только выбрать день да запастись обменным товаром – американской ветчиной, сахарином, сигаретами, яичным порошком, – деньги тогда были не в чести, к любым, хоть к советским, хоть к чешским, хоть к американским,

люди относились с недоверием. Когда Александра Александровна дожила до преклонных лет, такие обменные сделки стали называться на ее родине «бартер» и некоторое время, самое голодное после отмены советской власти и замены ее на антисоветскую, тоже были в большом ходу.

Отъезд на родину был назначен на субботу, 21 декабря, а 19-го, в четверг, Папикова пригласили выступить с прощальной лекцией в Пражском университете, так что для Александры день был свободен от операций. Она долго думала: сказать о предстоящей вылазке «старой» Наташе или не говорить? Если не говорить, то сразу возникнет много сложностей, а если сказать, то как поведет себя Наташа?

Сказала. Боялась, что Наташа назовет ее душой, заругает, а та задумалась, улыбнулась смущенно и говорит:

– Завидую... если бы у меня была жива мама... В общем, будь предельно осторожна. Документов с собой не бери, так будет лучше: одно дело – бродяжка, а другое – офицер...

– А я и не знала, что у тебя мама умерла, – сказала Александра, – живем, как во сне... Извини.

– Давай, переодевайся, а форму и документы я у нас оставлю.

Под прикрытием «старой» Наташи Александре и Марысе удалось незаметно выскользнуть в заранее приготовленную ими лазейку за миндальным деревом, отодвинув лишь прислоненные к забору две штакетины из их знаменитого на всю округу ультрамаринового забора. А когда девушки ока-

зались вне госпитального двора, «старая» Наташа приладила штакетины на место.

– Вперед, девчонки!

– Есть! – взяла под козырек Александра.

Их заплечные котомки были набиты американскими консервами, сигаретами, галетами, спичками, пакетиками сахара – всем тем, чего так жаждала толкучка. В те времена красивая, богатая одежда, обувь, мебель, посуда, недвижимость и даже золото обесценились, а на первые позиции вышли хлеб, соль, табак, спички, лекарства, крупы, сахар или сахарин – так всегда бывает в войну и в первое время после войны. Потом потихонечку все возвращается на круги своя, и внучке покажется сказкой, что за двухкилограммовую банку американской ветчины ее бабушка выменяла старинный золотой перстень с синим сапфиром музейной ценности, да еще в придачу ожерелье настоящего крупного морского жемчуга, светящегося, живого.

От госпиталя до толкучки был километр ходу, если знать, как идти. Марыся знала. Ровно на середине пути дорогу преграждал квартал обгорелых, полуразрушенных доходных домов, которые уже давно никому не приносили доходов, потому что постояльцев в них не было, а только гарь, тлен, сырость и затхлость, которые Александра запомнила навсегда как знак разрухи – слишком хорошее у нее было обоняние, памятьливое. Марыся знала здесь каждый уголок. Сначала они прошли одним сквозным подъездом, потом перебежа-

ли узкую мощеную улочку и на противоположной ее стороне прошли сквозь другой полуразрушенный, обгорелый дом. И, едва они вышли из этого дома, как тут же увидели знаменитую пражскую толкучку, раскинувшуюся на огромном пустыре, сбегаящем к темным водам Влтавы. Издали было отчетливо видно, что в пестрой, непрерывно и хаотично движущейся массе народа есть и свои ряды, и строгий порядок, но по мере того, как они приближались к толкучке, это впечатление пропадало, все как бы смазывалось и просто кишмя кишело, каждая отдельная точка двигалась разнонаправлено, как будто бессмысленно, и становилось понятно, почему это скопление людей называется именно так – толкучка.

От квартала доходных домов до толкучки было метров пятьсот, и девушки опомниться не успели, как подошли к краю толпы, как к краю пропасти.

– Вот она! – вдруг воскликнула Александра и кинулась в самую гущу народа, увлекая за собой и Марысю.

Каким-то чудом Александра точно попала в нужный ей ряд, и через две-три минуты они уже стояли напротив высокой краснолицей старухи, державшей перед собой расправленной светлосерую ангоровую кофту с шалевым воротником, окаймленным темно-фиолетовой полосой.

– Покупай, – шепнула Александра Марысе, и та тут же быстро-быстро заговорила со старухой по-чешски. Александра тем временем сняла заплечную котомку и вынула из нее главную ценность – двухкилограммовую банку амери-

канской ветчины. Старуха была опытная торговка, но все же не смогла скрыть своей радости. Александра молча взяла у старухи кофту, молча отдала ей ветчину.

– То гарнитура, – сказала старуха, показывая темно-фиолетовую блузку и темно-фиолетовую полушерстяную юбку – ей явно не хотелось упускать все то, что еще оставалось в котомке. Александра сунула ей котомку, взяла юбку и блузку.

– Патруля! – горячо шепнула ей на ухо Марыся.

Войска Советской армии к тому времени перешли на зимнюю форму одежды, так что на всей толкучке только двое наших хлопцев и были в шапках-ушанках. До патруля оставалось метров пятьдесят и до чистой дороги столько же.

Александра не кинулась бежать, а шла степенно, не привлекая излишнего внимания. Марыся следовала за ней шаг за шагом. До патруля оставалось метров сорок и до дороги сорок. До патруля – тридцать, а до дороги – двадцать: протиснувшись в другой ряд, девушкам удалось срезать уголок. Краем глаза Александра все-таки рассмотрела потенциальных преследователей – это были высокие, плечистые мальчишки лет двадцати двух, оба младшие сержанты, а лиц их она не разглядела толком – молодые, обветренные, только и всего. До патруля оставалось метров двадцать, до дороги – десять... И наконец вот она, свободная дорога, и черные доходные дома вдалеке. Конечно, им не следовало бежать, но они побежали, и патруль, уже почти вышедший к краю толкучки, тут же засек их.

– Тю, ты гля! Та вина в офицерских сапожках, то наша! Споймаем! – и рослые парни вмиг протолкались к дороге. – То наши! Споймаем!

Оба младших сержанта были в длиннополых шинелях, и это мешало им бежать, но они бежали так быстро, что расстояние между ними и девушками неумолимо сокращалось с каждой секундой.

– Скинь мешок им под ноги! – приказала Александра.

Марыся сбросила свою заплечную котомку прямо под ноги догонявшим. Те чуть не стукнулись лбами от неожиданности, и у того, кто говорил «споймаем», даже слетела на землю шапка.

Марысина котомка лопнула от удара о землю, и все содержавшиеся в ней богатства оказались перед глазами патрульных.

– Цыгаретки американьски, ты чуй!

– Побегли!

– А то шо бросимо?! – слышали за своими спинами Марыся и Александра.

Как-никак, а Александра была мастером спорта СССР, да и Марыся оказалась из резвых. Пока патрульные разбирались с привалившим добром, девушки успели оторваться от них метров на сто. Никогда в жизни Александра не бегала так быстро. Ветром пролетели они сквозные подъезды доходных домов, и вот уже перед глазами родной ультрамариновый заборчик, а патруля все нет... Куда ему бежать с та-

кой добычей, какой смысл?

Через десять минут они уже пили чай у «старой» Наташи и рассказывали о пережитом со смехом.

– А ты угадала размеры? – спросила Александру Наташа.

– За тридцать шагов! – смеясь, отвечала пунцовая Александра. – Эта кофта на меня блеснула, как солнышко!

– Красивая, ничего не скажешь, – подытожила Наташа, – благородная, особенно вместе с блузкой и юбкой.

– А моей мамочке и нужна благородная! – с каким-то непонятным собеседницам вызовом в голосе почему-то сказала Александра. Она и сама не знала, почему так получилось, откуда вдруг поднялась из души эта постыдная нотка барской спеси?

V

Хотя от Праги до Москвы попечением Ираклия Соломоновича ехали в одном и том же литерном вагоне с проводниками, специально прикомандированными к их команде, в тепле и достатке, но добирались все-таки семь суток – вагон то и дело отцепляли от очередного состава, часами он стоял в тупиках, потом его куда-то волокли, как правило, на дрезине, и прицепляли к новому составу, притом не раньше, чем Ираклий Соломонович переговорит со станционным начальством, благо ему было чем побаловать их накануне Нового года. Не считая двух сержантов-проводников, в вагоне еха-

ли Папиков, Наталья и Александра, Иван Иванович, Ираклий Соломонович и еще полковник и майор из штаба армии, оба совсем молодые и жизнерадостные, а все остальное пространство было забито вещами и продуктами. Славно ехали! И, главное, сдружились за эти семь суток, как за семь лет.

Самый большой багаж был у майора, самый маленький – у Ираклия Соломоновича, а уж он мог нахапать как никто из их компании.

– А кому мне везти? – вытирая лоб скомканным платочком, объяснил он Александре. – Я, Шура, один, везде все достану, если кому надо! – Голубые глазки Ираклия Соломоновича осветились неколебимой уверенностью в себе.

– А чего вы лоб вытираете? – спросила Александра то, о чем давно хотела спросить, да раньше не решалась, а теперь, за эти несколько дней, все они стали совсем свои. – Он у вас чистый.

– Лоб вытираю? Та полоса от фуражки получается – не люблю.

– А-а, но сейчас нет никакой полосы.

– Ну спасибо... Скоро в нашу больничку приедем, – задумчиво сказал Ираклий Соломонович. – Как они там?..

Александра промолчала, да и что она могла сказать.

Тут вагон подцепили и поволокли к новому составу.

Молодые майор и полковник на первых порах пытались ухаживать за Александрой, но заметивший это Ираклий Соломонович пошептался с ними, и те отстали – как ножом от-

резало. Александра случайно услышала в чуть приоткрытую дверь купе эти его шептания:

– Та ее жених в Москве встречает, та он из вас двоих делает четыре!

Александра посмеялась, что кто-то там будет ее встречать в Москве, а когда поезд наконец подошел к перрону Киевского вокзала, оказалось, что Ираклий Соломонович не зря пугал женихом.

Поезд прибыл в половине третьего дня, было еще светло.

– А я телеграммку из Лисок отбил. Сколько мы там стояли! Так что в случае чего не пугайтесь, – громко сказал Ираклий Соломонович, когда они все выстроились у окошек вагона, медленно наплывающего на перрон.

Их встречали. Без оркестра, но с цветами. Три белые хризантемы преподнес Александре подполковник медицинской службы, в котором она не сразу узнала Марка, сына больничной сестры-хозяйки Софьи Абрамовны (у нее-то он и срезал из комнатного горшка с цветами эти хризантемы, расцветшие как нельзя кстати). За минувшие годы Марк так возмужал, сделался таким статным, что вполне годился в завидные женихи.

С самого малого детства Александра не любила чуть горьковатый, земляной запах хризантем, она могла бы описать этот запах еще точнее. Но Марк-то при чем? Он ведь дарил от чистого сердца, и Александра смяла и отбросила почти пришедшую ей на ум точную формулировку о запахе хри-

зантем и об их японской и европейской символике...

VI

И кофта, и блузка, и юбка – все подошло маме! Александра боялась, что будет великовато, но всегда худенькая мама чуть-чуть пополнела за последние годы, и все пришлось ей впору. Первые минуты встречи они обнимались, целовались, плакали, гладили друг друга по плечам, потом всматривались друг в друга, вытирали слезы радости, беспричинно смеялись, привыкали, а потом все пошло как по маслу, будто и не было долгих лет разлуки. Родные на то и родные, что годы не властны над кровной близостью.

Их большая комната, пристроенная к кочегарке, мало чем изменилась; только толстая труба парового отопления теперь была выкрашена не в голубой, а в светло-кремовый цвет.

– Ремонт после Дня Победы делали, а мне трубу покрасили и не выселяют до сих пор, хотя я давно не дворник, – перехватив взгляд Александры, сказала мама. – Неплохой цвет, теплый. Мой руки, буду тебя кормить. Я еще вчера знала, что ты приедешь.

У мамы было первое дело: кто бы ни пришел, сразу кормить. Дочь вымыла руки из знакомого ей с детства, висевшего над ведром у двери маленького серого умывальника, может, алюминиевого, а может, из какого-то сплава, умывальника литра на два воды, с длинным металлическим соском,

и села к столу, застеленному клеенкой в розоватую клетку.

– Ма, у тебя и клеенка новая!

– Новая. Надя подарила. Я мальчика ее нянчу, а она мне помогает и даже деньги дает, но я много не беру – на трамвай, на мыло, ну туда-сюда... Ты, Саша, моя кормилица, я ведь за тебя офицерский паек получаю. Так что живу кум королю и сват министру! Когда тебе присвоили звание и ты написала насчет пайка, Надя прочла мне твое письмо, и я сразу пошла, они мне не дали. Ну я Надежде проговорила, так она такое подняла: «Я, тетя Аня, из горла у них выну!» – и вынула. Бой-баба! Помнишь, так говорили у нас в Николаеве? Хотя что я мелю, откуда ты можешь помнить? Это Маруся могла бы, – засмеялась мама. – Совсем я без тебя душой усохла. Садись к столу, супа налью. Перловый – ты в детстве любила.

– Я и сейчас люблю, мамочка! Даже не верится, что я дома!

Александра поела и вкусного мамино супа, и гречневой каши с пахучим жареным луком, выпила с мамой чая с сахаром и только потом начала вываливать добро из двух огромных брезентовых баулов – шофер госпитальной полуторки еле втащил их по одному в комнату. Мама ахала, охала, говорила, что теперь им «на три года хватит», а Александра тем временем извлекла самое главное: подарки для мамы.

– Теперь, мамочка, я закрою дверь, а ты примеряй наряд.

Я отвернусь, а ты оденешься. Хлопнешь в ладоши, и будем смотреть, а пока молчи!

Анна Карповна переодевалась без восторгов и причитаний долго, тщательно. Сидевшая к ней спиной дочь разглядывала комнату: потемневший от времени ларь, в котором, наверное, и до сих пор хранились книги – слепки со многих душ замечательных людей; окошко в потолке, наглухо замеченное снегом. Надо завтра же с утра залезть на крышу и смести снег. Скоро Новый год, а в окошко хорошо видно небо. Вдруг будет звездное? Красота!

Наконец раздалась три сухих хлопка в ладоши.

Переодетая в новый наряд Анна Карповна стояла в дальнем углу комнаты, куда почти не достигал желтоватый свет электрической лампочки, висевшей посередине потолка.

– Графиня, пройдитеесь, вас не видно! – вставая с табуретки, весело скомандовала Александра. И мама двинулась к ней.

Тысячу раз слышала Александра, что «не одежда красит человека, а человек одежду». Однако сейчас, при виде переодетой мамы, она поняла, что это, увы, не совсем так, если человек умеет носить одежду... Ей навстречу двигалась совсем незнакомая, стройная женщина с осанкой, от которой прямо-таки веяло ненарочитой простотой, свободой, уверенностью в каждом своем шаге и жесте.

– Мамочка, да ты королева!

– Всего лишь графиня, мне чужого не надо, даже королев-

ского. – Мама улыбнулась так светло, как в целом мире могла улыбаться только она одна. Лучезарно – другого слова у дочери не было. – И кофта отличная, и все прочее – спасибо! – Подойдя вплотную, мама поцеловала дочь в щеку.

– Это я в Праге на толкучке выменяла, а потом еле убежала от патруля – по офицерским сапожкам меня засекли, поняли, что я военная. Не догнали! Мы с Марысей дали такого деру, что ой-ё-ёй! Это девочка у нас работала, чешка, в посудомойке.

– Спасибо. – Мама села за стол напротив дочери. – Ну рассказывай потихоньку... Как получится, можно кусками. Какая теплая кофта, и цвет, и отделка подобраны не без благородства... Редкое сочетание цветов.

– Еще бы не теплая – настоящая ангора! А светло-серое и темно-фиолетовое действительно гармонируют. Я как издали увидела эту кофту в руках у торговки, так и кинулась в самую гущу!

Помолчали.

– Долго рассказывать, мамочка...

– А мы не спешим.

– И долго, и коротко. Я, как ты знаешь, была замужем, сейчас как бы вдова. Неродившийся ребенок так и не родился. Официально Адам пропал без вести, но попадание было прямое... Огромная бомба. А я не верю... Наши фотографии прилипли по краям воронки. Когда он отходил от меня, у него в руках была пачка наших фотографий... Кое-

что я тебе посылала. Это главное, все остальное – детали... А потом пустота. Штурмовой батальон морской пехоты, из боя в бой... Много очень хороших людей, мамочка... кто-то погиб, кто-то остался где-то... У меня был комбат Ванечка, Иван Иванович, мой ровесник, настоящий отец-командир, его разжаловали, после того как мы взяли Севастополь, из майора в младшие лейтенанты... Что-то не то сказал какому-то московскому хорьку-генералу, который прибыл с проверкой... И наш комбат чуть не застрелился, спасибо, я вовремя вышла на балкон – сердце чуяло. Мы разместились там в гостинице, в которой останавливался Чехов... Потом Сандомирский плацдарм, госпиталь, работа с Папиковым.

– А что это за плацдарм? У нас особо не распространялись, хотя я по радио что-то слышала.

– Это в Польше, ма. Домбровский угольный бассейн, там была бойня страшная, но мы были в сравнительном тылу... Госпиталь большой, армейский. Это у меня здесь фамилия редкая – Домбровская, а в Польше это целая область. Девчонки в госпитале меня дразнили: «Домбровская, это не твое княжество?» – а я отвечала: «Не княжество, а графство». С Папиковым мы познакомились случайно, госпиталь был в фольварке с огромным парком, и там двое наших поймали пленного немца, и один из них хотел убить его саперной лопаткой. Говорит: «Война кончается, а на моем счету еще ни одного фрица». Ну я им помешала. И тут Папиков. С тех пор я работаю с ним. Человек специальный, как говорит

про него наш начальник госпиталя: «Таких делают штучно и не каждые десять лет».

– Да, Надя рассказывала, он большая величина в хирургии, и ее муж Карен так говорит, а ему я верю. Тебе учиться надо, дочка. Надя уже выучилась, работает заместителем главврача по кадрам.

– Это на месте того дядьки, которого я сеткой по голове?.. Которого ты потом выхаживала?

– Да. Умер в прошлом году.

– Насчет Нади понятно, – с усмешкой сказала Александра и легонько постучала костяшками пальцев по столу. – Я давно подозревала, что она стукачка...

– Ну, это ее дело, – сказала мать, – а тебе надо учиться, ты обязана окончить институт.

– Ма, мне надо работать, я старая...

– Какие глупости! – вспыхнула мама. – Ты должна ради меня, а главное, в память об отце. Ты обязана! Поклянись!

– Ма, да ты что?!

– Поклянись, или я встану перед тобой на колени.

Александра растерялась и медлила. Еще секунда, и Анна Карповна опустилась перед ней на колени.

– Поклянись! Александра так перепугалась, была в таком смятении, что и сама не поняла, как тоже оказалась на коленях.

– Клянись: «В память о моем отце и уважая просьбу моей матери клянусь, что окончу медицинский институт».

– К-клянусь...

– Не так... полностью! – Никогда в жизни не видела Александра свою мать такой властной, такой непреклонной.

– В память о моем отце и уважая просьбу моей матери клянусь, что окончу медицинский институт.

Они обнялись, заплакали и поднялись вместе, помогая друг другу.

– Ты должна выйти в люди и ради себя, и в память о наших жизнях...

– Папиков то же говорит... Они с начальником госпиталя даже хотят втолкнуть меня сразу на третий курс.

– А разве это возможно?

– Для них возможно.

– Дай Бог!

– Сейчас мы все прикомандированы к нашей больнице, то есть госпиталю, в резерв. Но это временно. Папиков говорит, что Москва собирает кадры со всей армии. Они ждут назначений, наверняка больших. Иван Иванович – генерал-лейтенант, Папиков и Горшков – генерал-майоры. Их все знают, и они знают всех. Папиков говорит, что Наталья – это его жена – и я должны быть всегда при нем. А с сентября он отдаст меня в мединститут на третий курс со сдачей хвостов экстерном, в порядке исключения.

– Неужели он сможет?

– Сможет. Эти люди в самом первом ряду высших профессионалов. Папиков почти бог за операционным столом...

Перед войной сидел.

– Господи, за что же в нашей стране так не любят лучших?! Хорошие люди твои начальники.

– Очень, мамочка! Мне крупно повезло. Институт – это решено, но главное для меня – разыскать Адама. Мне надо съездить туда, где разбомбили наш госпиталь. Там большой поселок, мало ли что...

– Он бы давно откликнулся.

– Как тебе сказать, ма? За годы войны я таких чудес навидалась и про такие чудеса наслушалась, что теперь точно знаю: всякое могло случиться... В любом случае, пока я туда не съезжу, не успокоюсь хоть как-то...

– Но не сейчас ведь?

– Сейчас меня никто не отпустит. Демобилизуюсь... Весной, наверно...

Через месяц Папикова назначили или, как говорилось, «избрали» заведующим кафедрой в медицинский институт, а Наталью и Александру он забрал с собой лаборантками, всех троих, естественно, демобилизовали. На один день Папиков и Наталья съездили в Уфу поклониться праху его матери. Вернулись честь честью и начали осваиваться на новом месте. Папиков читал лекции и до войны в Ленинградском мединституте, и после войны в Пражском университете, так что эта работа была ему не в новинку, к тому же он оставался действующим хирургом, а Наталья и Александра – его операционными сестрами. Таких, как Папиков, тогда

в Москве было несколько человек, и все они пользовались особым положением, ими никто не командовал и тем более не помыкал, а самое главное – их высоко ценили профессионалы. Одного их слова иногда было достаточно, чтобы открылись очень тяжелые двери.

Среди студентов мединститута было много бывших фронтовиков, некоторые до сих пор ходили в гимнастерках, галифе и в сапогах: кто с пустым рукавом, кто с одним глазом, а кто и на одной ноге.

Ираклий Соломонович пока завис, остался работать в госпитале замом по тылу, а Ивана Ивановича назначили заместителем наркома здравоохранения СССР. Как-то они собрались и отпраздновали новые назначения и дали слово не забывать друг друга. Папиков договорился с ректором о том, что «одну из лучших операционных сестер Советского Союза» возьмут с осени сразу на третий курс, а пока ей определили «хвосты», дали книги, и она начала заниматься.

В апреле всех троих, Папикова, Наталью и Александру, ждало неожиданное событие: во всех газетах были напечатаны списки награжденных фронтовиков, где значились и Александра Домбровская, и Наталья Мелихова, и Александр Папиков с их фронтовыми должностями и званиями. Маленький генерал с покатыми плечами выполнял обещание. Это Александра и Папиков поняли сразу. Правда, для Александры вышел еще и конфуз перед своими: самый большой орден – орден Ленина – оказался у нее, а не у Папикова, что

было бы и понятно, и справедливо. В те времена, как и во все другие, почет и позор, хвала и хула раздавались по разнарядке. По разнарядке и награждали, и казнили. Например, задолго до описываемого времени пришла на Соловки разнарядка расстрелять несколько десятков человек. Ночью их расстреляли, а будущий академик Дмитрий Сергеевич Лихачев спрятался среди штабелей дров и остался жив, что и описал в своих воспоминаниях. По разнарядке маленький генерал, как сказал бы Ираклий Соломонович, «выципил» три ордена: Ленина, Боевого Красного Знамени и Красной Звезды. Орден Ленина изначально был предназначен для Папикова, но «спецы» объяснили, что Папикову его дать нельзя: у него судимость по политической статье, а тогда надо давать и начальнику госпиталя, и другим людям похожего полета. Начнутся разговоры, зависть, пойдут круги, то да се... А вот если отдать его медсестре Домбровской, то никто не ворохнет. Во-первых, она из трудовой семьи, во-вторых, прошла тяжелейшие бои со штурмовым батальоном морской пехоты, в-третьих, у нее уже есть три ордена, а самое главное: кому нужна медсестричка, ну кто ей позавидует? Разве что другая медсестричка. Таким образом, Александре достался орден Ленина.

Награды вручали на общеинститутском собрании. В тот год награждали многие сотни людей, и делалось это на местах.

– Товарищи, к нам в институт пришли фронтовики, чьи

заслуги известны. Они пришли, а награды еще догоняют их, – начал ректор, – и вот мне выпала высокая честь по поручению партии и правительства вручить эти награды. Еще до войны Александра Домбровская была удостоена ордена Трудового Красного Знамени, а в войну Боевого Красного Знамени, Красной Звезды, медали «За отвагу», медали «За освобождение Праги», и вот теперь высшая награда Родины – орден Ленина. Домбровская воевала в легендарном севастопольском штурмовом батальоне морской пехоты, на Сандомирском плацдарме, в Праге...

Награждали в войну и в первое время после войны щедро, но настоящие фронтовики знали, что это бывает, если сказать мягко, «не всегда справедливо». Как говаривали на фронте: «Чем ближе к писарю, тем больше наград...»

Так что поначалу, когда ректор только произнес фамилию никому не известной медсестры Домбровской, притом довольно красивой молодой женщины, стоящей на сцене, многие фронтовики усмехнулись, а когда ректор сказал, что она прошла путь со штурмовым батальоном морской пехоты, ухмылки тут же стерло с их лиц. Все понимали, что там, где люди идут из боя в бой, «блат» не пляшет, до него просто никому нет дела. Когда ректор вручил орден Александре, зал потрясли аплодисменты. Никогда, ни до, ни после, Александра не слышала ничего подобного в свой адрес. Маленький генерал выполнил свое обещание, но это не радовало Александру. Орден радовал, а вот от того, что он был напрямую свя-

зан с маленьким генералом, ей было не по себе.

Прежде мама восхищалась Сашенькиными наградами, говорила: «Отец был бы счастлив», а новый орден ей не понравился. Прежние ордена Анна Карповна гладила, а к этому даже не прикоснулась. Посмотрела и сказала: «Терпеть лысого не могу». На ордене был барельеф вождя всех народов.

– Так что, не носить? – спросила Александра с вызовом.

– Носи, еще как носи! Это я так, от бессилия... Дочь обратила внимание, что с годами, а матери было уже за шестьдесят, в ней стало иногда вспыхивать негодование, какая-то гордыня, иногда даже отдающая спесью. Это так непохоже на прежнюю маму, что Саше было странно и не очень приятно видеть и слышать все это.

– Ты должна получить высшее образование, должна стать человеком, чтоб они все знали свое место. Большим человеком!

– Ма, что ты говоришь? Зачем мне быть большим человеком? Начальником, что ли? Врачом я согласна, а кем еще?

– Ну хоть профессором в крайнем случае! – При этом глаза мамы загорелись таким яростным светом, что было понятно – она не шутит. Все это глубоко выстрадано и выношено ею, только она все прятала до поры до времени, все держала в себе, а сейчас силы уж не те, вот и выплескивается наружу... «Змири хордыню, доню», – говорила мама Сашеньке, когда та была маленькая, а сама, выходит, не смирила, значит, это не так просто.

Лет через сорок, когда уже бушевала перестройка⁷, Александра Александровна как-то подошла к стоянке такси у своего дома на Комсомольском проспекте. Подкатила машина, но Александру опередил какой-то парнишка лет шестнадцати, открыл дверцу и громко спросил водителя: «Шеф, за два “лысых” до чучела дотрясешь?» Водитель согласился, и они отъехали, а Александра целый день не могла понять сказанное мальчишкой, пока не вернулась вечером домой и не спросила внучку.

– Ба, ну чего тут непонятно? Он спросил: «За два рубля до памятника Марксу довезешь?» Возьми рубль. – Она подала ей металлический рубль. – Посмотри, Ленин-то лысый, вот он и спросил.

– Спасибо, Аня. Боже, как время летит и все меняет! – засмеялась Александра Александровна. – Твоя прабабушка Анна Карповна тоже так его называла, а вы с ней похожи как две капли воды!

⁷ Если вынести за скобки горячий романтический порыв, овладевший значительной частью населения нашей страны на первых порах перестройки, то с сегодняшней точки зрения это время (1987–1991) тотального разрушения Союза Советских Социалистических Республик как мировой многонациональной державы, время утверждения западных стандартов жизни как единственно правильных и возможных для нашего будущего, время пренебрежения нормами морали, нормами литературного русского языка, возведения во главу угла власти денег как главного мерила добра и зла в обществе, лишенном идеологии, то есть системы духовных ценностей, приоритетов и перспектив.

VII

4 июня 1947 года температура воздуха в Москве опустилась до нуля градусов и выпал снег. Зато в июле жара стояла африканская. Асфальт плавился под жгучим солнцем, и на проезжей части улиц в центре Москвы вырисовывались черные следы автомобильных шин, а гужевой транспорт днем не пускали в центр, потому что лошади оставляли на асфальте следы копыт. В стоячем знойном воздухе пахло гудроном – этот запах был самым стойким и как бы подавлявшим все другие запахи, хотя и других было много. Например, у многочисленных тележек с газированной водой пахло апельсиновым и вишневым сиропом, правильнее сказать, эссенцией, которую продавщицы в залапанных белых халатах скупно наливали в каждый следующий граненый стакан, прежде чем нажать на ручку сифона и наполнить его шипучей, пузырящейся водою, такой желанной на этой жаре! А от лоточниц мороженого, которые носили тяжелые фанерные лотки на перекинутых за шею ремнях, пахло молоком и горной свежестью тающего льда. Когда лоточницы становились «на точку», то подставляли под лотки легонькие козла с брезентовой столешницей, а сняв тяжесть, каждая женщина потом еще долго вертела шейей, восстанавливая кровообращение. Торговали с лотков и пирожками, и папиросами. Словом, жизнь в столице кипела. За два года после войны Москва прибра-

ла почти все разрушенное, даже кладбище сбитых самолетов осталось всего одно – в Ховрине.

В Москву тянулись люди со всей страны, старались зацепиться в столице изо всех сил, смиряясь и с теснотой, и с обидой. К лету 1947 года население Москвы, по сравнению с довоенным, увеличилось почти на полтора миллиона человек и перешагнуло пятимиллионный рубеж. По вечерам в парках гремела танцевальная музыка – иногда крутили пластинки, а чаще всего играл духовой оркестр. На танцплощадках пахло духами, пудрой, одеколоном, там, казалось, сам воздух был напоен страстями, весельем и отвагой. Время от времени вспыхивали короткие драки. Короткие потому, что с ними научились правильно бороться: как только начиналась драка – тут же замолкала музыка, и получалось так, что драчуны оказывались не против друг друга, а против всех, во вред всем. Среди кавалеров на танцплощадках было много совсем молоденьких безусых, но были и фронтовики при орденах. За ордена еще платили от пяти до двадцати пяти рублей, в зависимости от статуса ордена. Платили и за ранения; как почетный знак отличия носили специальные нашивки. Легкораненые – красные, тяжело – золотые. Орденосцы имели право на бесплатный проезд раз в году в любую точку страны на поездах и пароходах в оба конца, а в трамвае они могли ездить бесплатно круглый год. В ходу еще были красные тридцатки, почему-то эта купюра запомнилась всем, кто имел дело с деньгами до декабрьской реформы 1947 года.

В те дни люди больше всего ценили хорошую еду, а одежда, мебель и прочее были на втором плане. К богатству и «богатеньким» большинство относилось с брезгливым презрением: война научила многих отличать подлинные ценности от мнимых, все понимали, что нажились на войне только безусловные негодяи. Больше денег ценились карточки, как продовольственные, так и промтоварные. Деньги еще не стали как бы настоящими деньгами, и люди старались не тратить копейку на виду, жили скромненько. Возникший в последний военный год духовный подъем нации пока еще не иссяк, но шел на спад.

Среди личных житейских соображений люди думали и об общем: «Неужели и в этом году будет неурожай?!» Все знали, что на Украине, на юге России, в Поволжье и в Черноземье голод, но говорили об этом шепотом и то только между своими⁸.

Минуло всего два года, как отпраздновали Победу, и не то чтобы стали ее забывать, а сначала как бы не упоминать всуе, вроде из добрых побуждений. Прославившиеся в войну командующие были отосланы из Москвы кто куда, как говорилось, «на новое место работы», хотя все понимали – в почетную ссылку. Правильно истолковав такой сигнал высшей власти, отсидевшиеся в тылу начальнички всех рангов и уровней все напористее не подпускали фронтовиков к ры-

⁸ По разноречивым данным современных историков, в 1947 году в СССР умерло от голода более миллиона человек – цифры колеблются от 800000 до 1700000.

чагам управления. Все громче раздавались их голоса: «Хватит жить былыми заслугами!» Сначала отменили нашивки за ранения, следом – оплату за ордена, а там и день победы стали писать с маленькой буквы, по аналогии с написанием в Указе, опубликованном в газете «Известия»⁹.

Лишь к июлю 1947 года Александра собралась поехать в поселок, где когда-то было выдано ей свидетельство о регистрации брака с Домбровским Адамом Сигизмундовичем, поселок, вблизи которого был их ППГ третьей линии, замаскированный в оврагах, в то место на земле, где началось для нее все самое главное в ее жизни, едва началось и внезапно закончилось... Не стало у нее Адама, и усатый К. К. Грищук перевез ее, как истукана, к месту новой дислокации вверенного ему госпиталя.

⁹ Указ от 24 декабря 1947 года: «Президиум Верховного Совета СССР постановил: Во изменение Указа Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года считать день 9 мая – праздник победы над Германией – рабочим днем». Лишь 26 апреля 1965 года Указом Президиума Верховного Совета СССР День Победы был снова объявлен нерабочим днем и по аналогии с текстом нового Указа его стали писать отныне с большой буквы. Здесь любопытно отметить, что из кандидатов в члены политбюро ЦК КПСС и членов политбюро только Петр Мионович Машеров и Леонид Ильич Брежнев были фронтовиками, первый – в партизанах, второй – в регулярной армии. Так что совсем не случайно в 1966 году взмыла над страной песня-призыв «Фронтовики, наденьте ордена!». В конце сороковых и в пятидесятые годы носить ордена стало как бы дурным тоном: сначала их сменили орденские колодки, а потом и те отошли. Замечательная песня «Фронтовики, наденьте ордена!» (стихи Владимира Сергеева, музыка Оскара Фельцмана) оказалась не просто как нельзя кстати, но и утверждала новое отношение ко Дню Победы с большой буквы.

Ко времени отъезда в поселок Александра освоилась на кафедре медицинского института, в который ее должны были зачислить студенткой в конце августа, и даже начала готовиться к сдаче «хвостов» по общеобразовательным дисциплинам. Заведующий кафедрой Папиков скрепя сердце дал своей лаборантке отпуск на семь дней:

– Опасно, Саша. Голод, урки...

– Не опасней, чем на фронте, – буркнула в сторону Александра.

– Как сказать! – расслышал ее Папиков. – На фронте все ясней: и враги, и друзья. Там четкая линия: свои – чужие. А здесь вроде все свои на первый взгляд...

Деловой Ираклий Соломонович от поездки не отговаривал, а только снабдил Александру шоколадом, галетами, чаем, колотым сахаром, американским сухим молоком в крохотных брикетиках.

– Я даю все легенькое. Такое не пропадет, а сил добавит. И еще бумажку тебе выписал на всякий случай. – Горшков вручил Александре удостоверение на бланке госпиталя, из которого следовало, что податель сего, Домбровская Александра Александровна, направляется Н-ским госпиталем Москвы в такую-то область и такой-то поселок «для ознакомления на местах с опытом боевой славы»... Чьей славы и для чего понадобилось «ознакомление», из бумаги было не ясно, зато стояла внушительная подпись: генерал-майор И. С. Горшков – и круглая печать с гербом.

– Зачем мне это? – удивилась Александра.

– Мало ли! Спросят, а у тебя есть, – ответил Горшков точь-в-точь, как бывало говаривала ее мама по-украински: «Спросить, а у тоби исть».

Всемогущий Горшков обещал «устроить» ее на прямой поезд, следующий через станцию Семеновка, а там и до поселка рукой подать: всего двадцать пять километров.

– В крайнем случае пешком дойду! – поразовалась Александра.

В дорогу собирались очень тщательно.

– Я тебе пояс сошью, – сказала мама.

– Какой пояс?

– Нательный. Мне такой Сидор сшил, когда я с тобой бежала из Севастополя.

– Ой, мамочка, мы про этого Сидора опять забыли! А ты еще до войны обещала рассказать: откуда взялась у нас фамилия Галушко?

– Расскажу-расскажу, – смутилась мама, – вот вернешься, и расскажу. А пока давай шить, давай собираться.

Александра не стала настаивать на своей просьбе. Она ведь тоже пока не рассказала маме о своей находке в пражской больнице для бедных – медицинской карточке на имя Марии Галушко и о том, что в Пражском университете ей сказали, что в двадцатые годы там училась Мария Мерзловская и, скорее всего, уехала из Праги в Париж. Почему она не рассказала об этих столь важных фактах маме? На этот

вопрос у Александры был лишь один ответ, даже ей самой непонятный: почему-то... Почему-то не рассказала, а почему, бог его знает! Не раз хотела, не раз порывалась и всякий раз останавливалась, словно перед незримым барьером... оправдываясь перед собой тем, что не хочет волновать маму раньше времени. А что, собственно, должно произойти, чего она ждет? Трудно объяснить малообъяснимое... Она слишком верила, что найдет Марию, она чувствовала эту веру всей душой и как бы не хотела ее спугнуть. Сейчас, когда мама невольно заговорила о Сидоре Галушко, Александра подумала: «Вот вернусь из поездки, мама расскажет, и я расскажу обязательно...»

Окно в потолке их «дворницкой» давно замело пылью, но Александра не стала его протирать нарочно: сквозь пыль солнце грело не так горячо, и даже в очень жаркие дни в их просторной комнате с деревянным ларем у дверей и толстой, теперь уже не голубой, как в прежние времена, а кремовой трубой парового отопления, ведущей прямо из кочегарки, было вполне комфортно.

Анна Карповна сшила для дочери нательный пояс на трех пуговичках, широкий, с несколькими карманчиками и большими карманами, в которые поместилось много всякой всячины, под широким платьем эти карманы не бросались в глаза.

– И носить легко, – улыбнулась мама, довольная своей работой. За годы войны Анна Карповна, конечно, сильно сда-

ла: черты лица ее стали грубее, резче, волосы поседели почти по всей голове, а не только на висках, как было до отъезда Сашеньки на фронт, но глаза сияли как прежде – карие, с легкой раскосинкой светоносные мамины глаза.

– Спасибо, мамочка! – Александра наклонилась над сидевшей на табуретке мамой и поцеловала ее в седой висок.

Сначала Александра думала ехать в форме и при орденах, а потом они с мамой решили, что лучше ей одеться в простенькое гражданское, и главное – не забыть взять мамину стеганку, хотя и старенькую, но теплую: днем жара, а ночью бывает зябко, особенно к утру, а дорога непредсказуема... У всех мам первая забота накормить и обогреть дитя, пусть даже и великовозрастное, – Анна Карповна не была тут исключением.

Война окончилась, но движение пассажирских поездов все еще не наладилось. По прежним, мирным временам ехать от Москвы до Семеновки было часов восемнадцать, а Александра сошла с поезда только на третьи сутки. Теснота и жара настолько измотали ее, что Александра едва держалась на ногах. Так казалось, пока она не вышла из битком набитого общего вагона, наполненного такими тяжелыми, такими изнуряющими запахами несвежей одежды, пота, табачного перегара и всего прочего, что присуще вынужденному скоплению людей в коробке из железа и дерева на колесах, да еще в жару, да еще под чей-то залиvistый храп, под гогот играющих в карты урок, под вопли младенцев, не способных

уснуть в этой жаре и вони.

Боже, а как хорошо, оказывается, стоять на земле, видеть небо над головой в перистых облачках, дышать пусть и напоенным запахом пропитанных смолою шпал, но все-таки вольным воздухом! Как приятно видеть невдалеке одноэтажное зданище станции с косо висящей надписью «Семеновка» – голубой масляной краской по ржавому куску листового железа.

«Прямо не могут повесить! – с раздражением подумала Александра. – Почему-то в той же Чехии каждая вывеска – прямо, а у нас все наперекосяк!»

Станция была маленькая, поезд стоял всего три минуты, а когда дежурный по станции дал отмашку и состав отошел, полязгивая буферами, постукивая на стыках блестящих рельсов блестящими ободами стальных колес, Александра приободрилась еще больше: она ведь почти у цели, двадцать пять километров – чепуха, в крайнем случае пешком дойдет. Пешком-то пешком, но можно и спросить.

– Скажите, пожалуйста, – остановила она поровнявшегося с ней невысокого, грузного дежурного по станции с засаленным желтоватым флажком, обмотанным вокруг древка, – а как мне до поселка добраться? – и она произнесла название поселка.

Хотя было еще утро, но солнце шпарило вовсю. Полный, словно налитой, мужчина в форменных темно-синих суконных брюках и серой рубашке с погончиками, в фуражке, на

которой красовалась латунная эмблема железнодорожников, но почему-то в открытых сандалиях на босу ногу: толстомясые ступни буквально продавливались под кожаными ремешками, – остановился, вытер тыльной стороной пухлой ладони пот с серого, одутловатого лица, взглянул на Александру в упор узенькими, заплывшими глазками и вдруг сказал:

– Думаешь, люди голодуют, а этот разожрался, как хряк? Не, доча, хворый я...

– Почки? – утверждающе спросила Александра.

– Тю, а ты откуда знаешь про мои почки? – удивился дядька, видимо, свято уверенный, что больные почки на этом свете только у него одного.

– Вижу. Медвежьи ушки заваривайте. Можно корень солодки. А сейчас земляника пойдет, и ягоды, и лист, – все вам хорошо.

– Спасибо, доча. Ты врач или знахарка?

– Фельдшер я. Военный фельдшер.

– Хм... да... – Дядька посмотрел на нее с благодарным интересом и, помолчав, добавил: – А до жмыхового завода, где тот поселок... Ты пойди на товарную. Вон, видишь, машины разгружают? Это с поселка. Гля, вохра¹⁰ стоит с винтовками – ты за оцепление ни-ни, близко даже не подходи. Они, гады, пристрелят со скуки, за здорово живешь, скажут,

¹⁰ Военизированная охрана.

жмых скрасть хотела, или заарестуют – вполне¹¹. За кусок жмыха можно десятку схлопотать, а за попытку – пять лет лагеря. Ты подожди в сторонке, когда кто машиной отъедет. Вон, видишь, колонка, они к колонке подъезжают воду в радиатор залить, сами умыться. Скажи, Дяцюк послав – никто не откажет.

– Ой, дяденька, дай бог вам здоровья! А что сказала – заваривайте и пейте как можно больше.

– Спасибо, доча. – Дядька пошел к обшарпанному домику станции, а Александра двинулась по указанному им пути. До товарной станции, куда ее послал Дяцюк, было метров триста, вроде еще далеко, но уже явственно долетавший оттуда запах подсолнечного жмыха напомнил Александре, что она давно ничего не ела. «И не ела, и не спала, и не мылась... Ладно, доберусь до поселка, можно и еще потерпеть».

Пока Александра шагала к стоявшей на отшибе чугунной водопроводной колонке, от товарной станции, где так вкусно пахло жмыхом, подъехала к колонке бортовая полуторка. Из кабины вылез здоровенный парень, снял рубаху и, не видя приближающуюся к нему Александру, одной рукой стал на-

¹¹ Так называемый «закон о колосках» предусматривал расстрел за хищения на железнодорожном и водном транспорте, а за присвоение колхозной собственности предусматривалось лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с заключением в «концентрационный лагерь». Осужденные по этому закону не подлежали амнистии, и было их сотни тысяч. «Закон о колосках» назывался так, потому что по этому закону нередко осуждали крестьян в прямом смысле за несколько колосков, подобранных с брошенного колхозного поля.

качивать рычагом воду, а второй мыться.

Господи, как позавидовала ему Александра!

Подойдя к колонке, она смело убрала руку парня с рычага.

– Мойся двумя руками!

Парень выпрямился и предстал перед Александрой во всей красе: это был высокий ширококостный юноша, про таких говорят «мосластый», его серые, светлые на солнце глаза смотрели на незнакомку хотя и с некоторым удивлением, но спокойно.

– Лады, спасибо, качай!

Александра стала качать искрящуюся на солнце воду из глубины, а парень радостно мылся, набирая воду в свои огромные, составленные одна к одной ладони.

– Меня Дяцюк послал. До жмыхового завода довезешь?

– А у тебя деньги есть? – выпрямляясь, спросил парень.

Александра бросила рычаг колонки, повернулась к парню спиной и полезла за пазуху.

– Эй, не надо! – тронул он ее за плечо. – Это я так, с жары одурел. Садись, довезу.

Александра поднялась на высокую приступку кабины, села на горячее брезентовое сиденье.

Некоторое время ехали молча. Когда шофер притормаживал, из кузова наносило ветром сладкий запах подсолнечно-го жмыха.

– Вкусно у тебя пахнет.

– Вкусно. Да того жмыха осталось – кот наплакал. Завод

фактически не работает.

– Голод? Неурожай?

– Говорят, так. А по мне, то все брехня. Семечкина взяли – вот в чем вопрос.

– А кто этот Семечкин?

– Ты что?! – Шофер взглянул на нее так, как будто она с луны свалилась. – Семечкин – директор. На нем все держалось и в заводе, и в поселке. Он и отца моего, и меня от тюрьмы спас, а потом меня в шоферы отдал. Мы с отцом как с фронта вернулись...

– Ты был на фронте?

– А где ж я был? Ты че? Мы с папкой в одной батальонной разведке четыре года...

– Фронт? – отрывисто спросила Александра.

– Че?

– Какой фронт, спрашиваю?

– А-а, Четвертый Украинский.

– Командующий?

– Ну Петров.

– Правильно, генерал Петров. А где ты был в начале мая сорок четвертого?

– Сапун-гору штурмовал. Седьмого к вечеру мы ее взяли.

Наших полегло – жуть...

– Да, дурацкий был штурм – лобовой, – жестко сказала Александра.

– Лобовой, – подтвердил парень.

– Седьмого вы взяли Сапун-гору, а девятого на рассвете мой батальон переправился через Северную бухту и захватил порт.

– Так то морячки взяли порт на фрицевских гробах – у нас про то все слышали. Ты че мелешь? То морячки...

Александра протянула шоферу руку и представилась:

– Военфельдшер штурмового батальона морской пехоты Александра Домбровская.

– Да ты че? – Он бережно взял ее ладонь в свою лапищу, подержал недолго. – Младший сержант Петр Горюнов. – Он даже отпустил баранку и чуть не съехал с дороги в поле.

– Эе-ей! Мне еще до поселка надо доехать! – засмеялась Александра.

Солнце светило им в спину, по ходу полуторки, в кабине было прохладно, приятный ветерок обдувал их еще совсем молодые лица бывалых фронтовиков.

– А чего поля не засеяны? – спросила Александра.

– Нечем их было засеять. Все зерно, даже семенное, вывезли из колхозных закровов, да и у людей все поотнимали в прошлом годе. Это наши жмых подьедают – благодать, а другие с голоду пухнут. Председателей колхозов пересажали. У нас в поселке мужик был жох, председатель – самый лучший в районе. Одноногий, а все равно взяли. Их с Семечкиным зараз и еще¹²...

¹² В 1946 году по стране было арестовано свыше 10 тысяч председателей колхозов «за халатность и мягкотелость», а говоря проще – за то, что они не отни-

– Лучше ты мне не рассказывай, – прервала его Александра.

– Рассказывай не рассказывай – все одно. Сила соломѹ ломит, дурная власть – народ гнет.

– Эй, ты полегче! А вдруг я стукачка?

– Я разведчик, у меня глаз-алмаз. Ты не стукачка, ты морячка. А к нам чего?

– В загс, справку надо взять об одном человеке.

– А-а, справка – дело хорошее! Если ночевать негде, ты приходи к нам с папаней. Приходи смело. У нас дом пустой, мамка и сеструха померли. Мы тебя не обидим, не думай.

– Если надо, я сама кого хочешь обижу.

– Ну ты точно морская пехота! – засмеялся Петр. – А мы Горюновы, тебе любой покажет наш дом.

– Спасибо, может быть, и приду. Притормози, кажется, я приехала.

– Да ты че? Тут одни овраги, а до поселка еще четыре километра.

– Знаю, что овраги. Здесь в сорок втором мой госпиталь

мали у своих колхозников все подчистую. Голодомора 1946–1947 годов могло и не быть – СССР располагал запасами зерна, способными компенсировать засуху 1946 года, но, во-первых, зерно продолжало экспортироваться в политических целях, например, только во Францию было вывезено свыше полумиллиона тонн отборного зерна, в том числе и семенного, а во-вторых, тысячи тонн зерна погибли из-за нерадивого хранения. Официально все просчеты руководства страны никогда не были признаны, все списали на «вредительскую деятельность незональных элементов», то есть пухнувших с голоду людей, у которых отнимались последние крошки.

стоял, хочу глянуть.

– Я долго ждать не могу, у меня еще одна ездка.

– А ты и не жди. Поезжай. Пешком дойду.

– Приходи, если че! – крикнул, трогаясь с места, Петр, и его машина с высокими бортами покатила к поселку, оставляя за собой легкие облачка пыли.

Вот они, на всю жизнь запомнившиеся ей купы деревьев вдоль заросших бурьяном оврагов, а справа поле, то самое, где ей было так пронзительно счастливо с Адамом. Где-то там, под деревьями, должны быть маленький песчаный карьер и озерцо, где когда-то они с Адамом так весело купались. Господи, как ей хотелось искупаться сейчас! Такая она была липкая и противная сама себе от дорожной грязи.

«Ой, вон тот самый песчаный карьер и озерцо! И мошка вьется над водой, как пять лет назад. А вон и кривая береза, под которой мы сидели с Адамом. В моей жизни все другое, а здесь ничего не изменилось, как будто замерло... И вокруг ни души – грех не искупаться...»

Александра разделась донага, с особым удовольствием она сняла небольшой пояс с карманами, полными припасов. Шоколад Ираклия Соломоновича даже сквозь обертку подтаял, и карманы, в которых он был, стали темно-коричневыми, а на бедрах Александры проступали радужные, наверное, сладкие пятна. Воды в озерце было чуть выше колена, Александра вошла в нее с наслаждением, медленно-медленно. Сначала села, а потом и полулегла, опираясь руками на

крупитчатый чистый песок. Мыла у нее не было, и она захватывала песок горстями и обмывала им тело. Через много лет она где-то прочла, что точно так же моются песком бедуины в Сахаре, даже и без воды – одним песком. Очень хотелось вымыть голову, но она боялась, что потом не сможет хорошенько расчесать волосы, – и все-таки решилась: расплела уложенную вокруг головы косу и – была не была – окунулась с головой! Вода была очень мягкая, и распущенные волосы прекрасно промылись. Потом она выстирала косынку, бросила ее на бережок, на травку. Господи, хорошо-то как! И всего-то человеку надо – вымыться с дороги! Потом Александра еще долго лежала в воде, бездумно смотрела на отражение кривой березы, кустов, кленов. Подняла голову к небу – высокому, чистому, вечному небу, от взгляда на которое в каждой живой душе обязательно происходит как бы прилив энергии и постижение того, что не постичь умом. Вот оно, самое главное для нее место на всей земле: перелесок, озерко с крупитчатым песком, кривая береза... Вскоре К. К. Грищук увез их в поселок, в загс. Вот-вот и она доберется до поселка... Какая красивая женщина была начальница загса, и какой смешной белобрысый у нее внучонок, которому Грищук оставил под кустом сумку с продуктами. А там, за спиной, за деревьями, поле, где были они с Адамом...

...Высокая трава, плотным кольцом окружавшая ложе, делала их совершенно невидимыми в поле. И зря Грищук смотрел в бинокль, искал их, чтобы отправить Адама в штаб

армии, а если бы нашел тогда и отправил бы, наверное, и сейчас тот был бы жив и с нею...

В их травяном раю было так хорошо, что уходить не хотелось. Солнышко грело, бурьян и трава стояли по стенкам примятой ими чаши высокие, плотные. Душистый воздух внутри их убежища так прогрелся, что они, молодые, горячие, исполненные жизненных сил и желаний, нежились поверх своей одежды в чем мать родила.

Как сладко пахли увядшие травы, какой у них, оказывается, тонкий и печальный запах надломленной, уходящей жизни! А под высокой травой еще зеленела травка, смелая, как будто и не ждала холодов. А каким простором и вечностью веяло от полыни!

...И еще она вспомнила, как задремала в своем домике-грузовичке и ей приснился сон: стоит она во всем рваном, с голыми плечами, в каком-то глухом дворе, окруженном серыми стенами с потеками дождя, и вдруг одна стена двинулась на нее – и ей не спастись, не уйти... она хочет крикнуть и не может...

«Пора собираться, – подумала Александра. – Сейчас увижу овраги, ту проклятую воронку, к краям которой прилипли когда-то наши фотографии, – и в поселок к начальнице загса, она все вспомнит, эта красивая женщина. Она мне все расскажет, скоро...»

Александра поднялась из воды, выжала волосы и шагнула на бережок, поросший гусиными лапками. Потом она долго,

терпеливо расчесывалась. Волосы промылись замечательно, и вообще как это чудесно – искупаться после такой долгой дороги! Надела все чистое, даже платье – серенькое, льняное, пусть и неглаженое, ничего, скоро обвисится, такое легкое, такое холодящее, еще довоенное платьице. Жаль только, нательный пояс оставался нестиранным, но тут уж ничего не поделаешь. По тропинке от озерца она прошла к кривой березе, нежно обняла ее обеими руками...

...Ствол березы был наклонен едва ли не параллельно земле, видно, березку ударили танком или тягачом, она надломилась, покосилась, но удержалась корнями в земле и начала расти не вверх, как все соседки, а в сторону. Рана быстро затекла, образовался бугорчатый нарост, и жизнь в березке пошла своим ходом.

– А ты крещеная? – спросил Адам.

Она молча расстегнула гимнастерку с чистым воротничком, и на обнажившихся ключицах, которые резко отличались от загорелой, обветренной шеи, свободной от ворота гимнастерки, на белой коже сверкнула тонкая серебряная цепочка. Александра вытянула скрытую меж сомкнутых лифчиком грудей часть цепочки с крестиком и поцеловала его. Адам тоже поцеловал ее крестик, плоский, легонький, а потом молча расстегнул еще несколько круглых металлических пуговиц на ее гимнастерке и нежно, бережно, но уверенно стал целовать ее никогда не знавшие мужской ласки девичьи груди. Все поплыло у нее перед глазами, дыхание

перехватило... Но вдруг надломилась березка, на которой они сидели. Александра удержалась на ногах, а Адам упал на бок. Она подала ему руку, помогла подняться...

Березка была все та же, но, конечно, гораздо толще, она давно приноморовилась к своему изъяду и росла не вверх, а вширь. Погладив шершавую кору родной березы, приласкав ее бугорчатые наросты, Александра простилась с ней и пошла вперед, туда, где случилось самое страшное.

Она сразу узнала ту самую воронку от бомбы, в которой, видимо, сгинул Адам. Воронка сильно затянулась, стала гораздо меньше и так заросла бурьяном, что дна ее не было видно. Александра встала на колени, поцеловала землю на краю бомбовой воронки и тихо-тихо попросила Господа Бога:

– Господи, дай мне силы верить, что мой Адашь жив и здоров на белом свете и я его все равно найду!

Вдруг ее слуха коснулось какое-то движение впереди, за кустами. Александра встала на ноги и увидела приближающееся к оврагам стадо коров. За небольшим стадом шел глубокий старик, то был дед Сашка – сосед Глафиры Петровны, именно он принял у Адама коров, когда тот ушел в фельдшеры.

Коровы были тощие, но чистенькие и вполне бодрые на вид. Когда Александра подошла к стаду, они почему-то остановились без команды и смотрели на нее так, как будто хотели сказать что-то очень важное. Александра погладила

ближнюю корову по плоскому плюшевому лбу, а корова лизнула в ответ ее руку шершавым языком. Как она смотрела на Александру своими печальными все понимающими глазами...

– Здравствуйте, – сказала Александра старику, – а напрямик я до поселка дойду?

– А че, перебреди Сойку, она счас мелкая. Мы дошли, и ты дойдешь. – Старик посмотрел на Александру внимательно и добавил: – Ты, видать, добрый человек, не каждого мои коровы так встречают! Иди, деточка, с Богом! – Он доброжелательно махнул маленькой темной ладошкой.

– Спасибо, дядя, большое спасибо! – и Александра направилась через поле к речке, перешла вброд мутную Сойку, а там и до поселка осталось рукой подать.

Хотя Александра и приезжала сюда в 1942 году, в день регистрации своего брака, но она ничего не запомнила: ни домов, ни улиц, ни комбикормового завода. В памяти ее остались только лица начальницы загса и ее белобрысого внуочка с шелушащимися лопухими ушами и розовым облупленным носом. С внучком ведь было связано очень важное – это он принес в красной коробочке круглую гербовую печать, государственно удостоверяющую, что Адам и Александра – муж и жена.

По одной стороне длинной поселковой улицы шла, казалось, нескончаемая стена из белого силикатного кирпича с колючей проволокой поверху, из-за стены тянуло сладкова-

тым запахом подсолнечного жмыха, на невидимой Александре территории что-то изредка ухало, звякало, раздавались в основном женские и гораздо реже мужские голоса. «Вот это и есть их знаменитый комбикормовый завод, – подумала Александра, – большущий, он ведь и в войну был, а я и не заметила. На улице ни души – удивительно! Хоть бы бабулька какая попалась, спросить ее, где у них загс. Наверное, от солнца все попрятались – вон как лупит! А еще в этих местах бывает суховей – название ветра само за себя говорит, спасибо, сейчас его нет».

Поровнявшись с высокими, выкрашенными темно-зеленой краской железными воротами, Александра приостановилась в надежде, что из проходной выйдет охранник, но тот тупо смотрел на нее сквозь пыльное стекло маленького оконца. Странно, она на всю жизнь запомнила эту смутно очерченную физиономию за давно немытым стеклом, будку из силикатного кирпича, в которой сидел тот дядька, кусок забора за будкой, по верху которого шла колючая проволока в три ряда, ржавая, наверное, почти истлевшая, колючая проволока, такую тронь – рассыплется в прах, а острастку людям дает. «Господи, сколько кирпича, железа, дерева, бетона, собственных сил и всего прочего перевели люди на заборы. Наверное, если все сложить по всему миру, то из этих заборов можно было бы выстроить город на миллионы человек, дать жилье всем бездомным на земле... Сонный какой-то дядька, – подумала она об охраннике, – небось, всю

войну так и просидел в этой будке. Господи, охраны скоро будет больше, чем людей, а толку – чуть! Дорогу спросить не у кого... – Не давая раздражению овладеть собой, Александра перевела размышления в другой ряд: – Да, где-то здесь этот загс, сейчас я найду его!» – и опять вспомнила начальницу загса, красивую, чернобровую женщину с хорошим цветом лица, яркими карими глазами, белозубую. Вспомнила, как та дохнула полными губами на гербовую печать, со смехом звонко шлепнула ее на свидетельство о регистрации и молодо рассмеялась: «Эхма, давно молодых не расписывала, аж на душе радостно!»

Улица была такая длинная, что, отойдя метров на сто от ворот завода, Александра засомневалась: «А может, я иду не в ту сторону?» Оглянулась: за ее спиной, на противоположной от заводского забора стороне, оставалось еще порядочное количество домишек, мимо которых она не проходила. Позади есть и впереди еще много. Она всмотрелась из-под руки и разглядела впереди большие дома и что-то наподобие площади. Подошла ближе – точно, площадь. Вон и скульптура вождя с указующим перстом: «Правильной дорогой идете, товарищи!» Такие указующие вожди стояли по всем городам и весям, где бронзовые, где бетонные, а где и из крашеного гипса, часто под затейливыми навесами, чтоб струи дождя не засекали святое искусство.

Александра решила идти к центру поселка. Скоро заводской забор из белого силикатного кирпича закончился, и до-

мишки по улице потянулись с обеих сторон. Дорога была ровная, местами выкатанная до серого лоска, не очень пыльная, тем более на обочине, по которой шагала Александра. Домишки были почти игрушечные, как правило, чистенькие, свежeweыбеленные. Александра подумала, что вот всего тысяча километров от Москвы, но во всем уже чувствуется юг, другая культура содержания жилья и обустройства человека. На юге без чистоты пропадешь, а вот у дядьки-охранника окошко сто лет немытое, сказано – казенное. Примерно об этом думала Александра, продвигаясь к цели своего путешествия. Идти было не так легко, как в первое время после купания в озере, солнце пекло голову, даже под косынкой заплетенные в косу волосы давно высохли, а котомка за плечами и мамина фуфайка в руках с каждой минутой становились все тяжелее, все неудобнее, наверное, сказывались два дня и три ночи, проведенные в битком набитом вагоне почти без сна и воздуха...

– Александра! – вдруг остановил ее звонкий, молодой окрик.

Она вздрогнула и обернулась на голос.

– Александра, вот я тебе сейчас по попке! Ты почему у него отняла?!

В трех шагах от обочины, за невысоким, почерневшим от времени штакетником, на провисшей веревке молоденькая женщина развешивала во дворике свежeweыстиранное белье – из-за латаной простыни была видна только ее голова с пря-

мыми русыми волосами и высокая девичья шея, а внизу – босые ноги и еще две пары босых ножек. Увидев остановившуюся перед ее палисадником незнакомку, юная женщина смутилась, откинула с высокого лба русую прядь и миролюбиво добавила:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.